УМБЕРТО

ЭКО

ТАИНСТВЕННОЕ ПЛАМЯ ЦАРИЦЫ ЛОАНЫ

CORPUS

Умберто Эко
Таинственное пламя царицы Лоаны

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6252747
Таинственное пламя царицы Лоаны / Умберто Эко: АСТ : CORPUS; Москва; 2013
ISBN 978-5-17-077822-5

Аннотация

Иллюстрированный роман – соблазнительная для читателя новая форма современной литературы, однако Умберто Эко в действительности «переизобретает» старые любимые книги. Книги детства всегда полны картинок, и картинки эти волшебным пламенем озаряют детскую фантазию. Именно это и нужно герою, букинисту Джамбаттисте Бодони из Милана, чтобы вернуться в собственное «я» после тяжелой болезни и утраты памяти.

Журналы, комиксы, классные сочинения, речовки, рекламки, пластинки, радиопередачи. На чердаке, как в сказочной пещере, герой новооткрывает хорошо забытые, жизненно важные ощущения. Напоминая герою о пережитом, полные смысла запахи и звуки возрождаются из магии пыльных страниц. Старая школьная тетрадь рассказывает Джамбаттисте о его старой любви и о его же молодом героизме. Собрав себя по крупицам,

как сыщик из детектива, Бодони снова обретает самосознание и возвращается из воображаемого и восстановленного мира в реальный. Надолго ли? Ему предстоит новое путешествие – знаменитый итальянский романист приглашает читателя в очередную умную фантасмагорию.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Часть первая 6
Глава 1 6
Глава 2 43
Глава 3 69
Глава 4 100
Часть вторая 123
Глава 5 123
Глава 6 137
Конец ознакомительного фрагмента. 184

Умберто Эко
Таинственное пламя царицы Лоаны

Издание осуществлено при содействии издательства АСТ

© RCS Libri S.p.A, Milano, Bompiani 2004–2013
© Е.Костюкович, перевод на русский язык, 2008
© Е.Костюкович, комментарии, 2008
© А.Бондаренко, оформление, 2013
© ООО “Издательство АСТ”, 2013
Издательство CORPUS ®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Часть первая
Поражение

Глава 1
Мучительный месяц

– Ну, а зовут вас как?
– Обождите, вот вертится на языке…

Все начиналось так.

Я долго спал и проснулся, но был как в сером молоке. Собственно, я не спал, а грезил. Греза была странная, без картинок. Я не видел, а слышал, как мне объясняли, что я должен увидеть. Объясняли, что пока что я еще не вижу ничего, только дымку около каналов, где разрежены линии пейзажа. Брюгге, я сказал, это я в Брюгге. *Бывал ли я дотоле в Брюгге мертвом? Где меж дворцов туман как ладан снулый? О грустный и серый город – Надгробие в хризантемах, По стенам ошметки тумана Висят как обоев куски.*

Омыв душой трамвайное стекло, я уронил ее в сырую морось, в шатание дымов под фонарем… О дымка, непорочная сестра… Туман вязкий и тусклый. Туман окутал весь город и вызвал сонм привидений…

Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну. *И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване. И кожа ее белее белого.* Меня зовут Артур Гордон Пим, так-то.

Я жевал туман. *Призраки пробегали, пролетали, затрагивали меня, развеивались.* Далекие огоньки трепетали, лампадки кладбища.

Кто-то проходит рядом со мной, не вызывая шума, будто бы босиком – не стучат каблуки, не слышатся туфли, не шлепают пятки, только туман своим краем задевает за щеку, пьяная ругань звучит вдалеке у парома. Паром? Не Харон? Я ничего не говорил, я только слышал.

Проникает туман, будто кошка на мягоньких лапах… Оставался туман, будто мир из него устранили.

И все же глаза я потихоньку приоткрывал. Тогда говорили:

– Нет, это все же не кома. Понимаете, голубушка… Посмотрите, энцефалограмма не совсем плоская. Безусловно. Имеем отдельные вспышки…

Кто-то мне светил в глаза, потом возвращались сумерки. Куда-то еще кололи. – Имеем, кроме того, подвижность…

Мегрэ ныряет в такой плотный туман, что даже не видит, куда ступает. Видит, что в тумане полно человеческих фигур. Чем дальше идет комиссар, тем оживленней становится таинственная жизнь в тумане. Мегрэ? Элементарно, дорогой

Уотсон, элементарно, как десять негритят, именно туман-то и укрывал собаку Баскервилей.

Полоса белых паров поднялась над горизонтом значительно выше, постепенно теряя сероватый цвет. Вода стала горячей и приобрела совсем молочную окраску, дотрагиваться до нее неприятно. Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объятья.

Я слышал разговоры рядом, хотел закричать, что я тут. Что-то дико шумело, будто бы меня грызли острозубые жениховские машины. Я был в исправительной колонии.

Тяжесть на голове, будто напялили железную маску. Вроде видятся голубые огни.

– Зрачки разного диаметра…

Фрагменты моих мыслей. Я пробуждался, это несомненно. Но я не мог пошевелиться. Только б суметь забодрствовать… Сколько я проспал? Часов, дней, столетий?

Вернулся туман, слова в тумане, слова о тумане. *Seltsam, im Nebel zu wandern! Странно бродить в тумане!*

Что за язык? Я будто плыл в море, и берег был рядом, но мне не удавалось добраться. Никто меня не видел, меня уволакивало отливом.

Пожалуйста, скажите что-нибудь, пожалуйста, дотроньтесь до меня. Чья-то рука на лбу. Насладительно. Звучит другой голос: – Голубушка, известны случаи, когда пациент просыпался, вставал, брал шляпу и шел домой.

Кто-то лез все время с мигающей лампочкой, бренчал камертоном, подсовывали под нос чеснок, горчицу. *Земля пропахла грибами.*

Новые голоса, эти-то изнутри: *И горестно за стволами Локомотивы трубят… Священники, слепо мрежась в тумане, Идут гуськом в Сан-Микеле дель Боско.*

Небо из пепла. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами; туман в низовьях Темзы, туман, грызущий руки малолетней торговки спичками. Прохожие с мостов Собачьего острова смотрят на отвратное туманное небо и сами впутаны в туман, как монгольфьер, подвешенный в коричневом тумане, *ужели смерть столь многих истребила. Вокзальная вонь и вокзальная полумгла.*

Другой свет, помягче. *Ей чудилось, будто из-за вересковых зарослей до нее сквозь туман долетает плач шотландской волынки, многократно повторяемый эхом.*

Еще один долгий сон. Вероятно. Так я думаю. Опять тьма разреживается. *Как будто я плыву в смеси Воды с анисовой настойкой…*

Он передо мной, хотя я вижу его как тень. В голове у меня сумбур наподобие похмельного. Что-то бормочу. Вроде как впервые овладеваю речью: – *Posco reposco flagito* управляют инфинитивом будущего времени? А в какой момент они решили, что *cujus regio ejus religio…* чья земля, того и вера? Это когда католики с протестантами мирились в Аугсбурге или когда протестанты с католиками ссорились в Праге? –

И вслед за этим: *Туман, видимость ограничена на всем протяжении апеннинского отрезка Первого скоростного шоссе Север – Юг от Ронкобилаччо до Барберино дель Муджелло.*

Он кивает, будто понял: – Конечно. Теперь откройте глаза и посмотрите вокруг. Как по-вашему, где мы?

Теперь я его вижу яснее. Он в хламиде. Как это говорится… Не в хламиде, а в халате. Я обвожу комнату взглядом и кручу вправо-влево головой: строгая чистая комната, мебели немного, мебель металлическая, мебель светлая, я в кровати, в руку вставлена трубочка. В раме окна сквозь щели затенения проходят лучики света, *весна царит вокруг, пропитан ею воздух и земля.*

Я отваживаюсь:

– Это… больница… вы врач. Со мной что-то не так?

– Было не так. Я потом объясню. Но сейчас вы в сознании. И все будет хорошо. Я доктор Гратароло. Вы уж извините, несколько вопросов. Что я показал? Сколько тут?

– Это рука, это пальцы. Четыре пальца. Четыре, да?

– Конечно. Сколько будет шестью шесть?

– Тридцать шесть, естественно.

Мысли у меня громоздятся в голове, но как будто без моей воли.

– Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

– Я в восхищении. Теорему Пифагора я тоже еще помню, хотя с математикой у меня в школе…

– Пифагор Самосский. Эвклид написал «Начала». В лати-

низированной форме «Элементы». Отчаянное одиночество параллельных прямых, которым не суждено сойтись.

– Похоже, память у вас в полном порядке. Ну, а зовут вас как?

Вот тут я дрогнул. И ведь же крутится прямо на языке. Я помялся и сказал самую естественную фразу:

– Меня зовут Артур Гордон Пим.

– Не угадали.

Явно Артуром Гордоном Пимом звали не меня. Пим не прошел. Я стал торговаться с доктором:

– Зовите меня… Измаил? Можете звать Измаилом.

– Нет, вас зовут совсем не Измаилом. Пробуйте снова.

Откуда мне взять имя. Передо мной была стена. Назвать по имени Эвклида или Измаила казалось нетрудно, как сказать Карл у Клары украл кораллы. А как доходило до меня самого, вырастала стена. Нет, не то чтобы стена, объяснял я доктору: не плотная преграда, а какой-то зыбучий туман.

– Можете вы описать туман? – спросил доктор.

– *Туман по дикому склону Карабкается и каплет.* А вы можете описать туман?

– Я не могу, я не писатель, а врач. Сейчас апрель, так что и показать туман не могу. Сегодня двадцать пятое апреля.

– *Апрель, мучительный месяц.*

– На это у меня культуры не хватает, но я понимаю, вы что-то цитируете. Можно было бы добавить, что сегодня

день окончания войны. Какой сейчас год, вы знаете?

– Какой-то явно после открытия Америки…

– А вы не помните дату, ну, какую угодно дату до… до вашего пробуждения?

– Какую угодно? Тысяча девятьсот сорок пятый, окончание Второй мировой войны.

– Жидковато. Ну, знайте же, что сегодня двадцать пятое апреля 1991 года. Вы родились, если я правильно помню, в конце 1931 года, и поэтому сейчас вам около шестидесяти лет.

– Пятьдесят девять с половиной, даже меньше.

– Идеально. С устным счетом идеально… Видите ли, с вами произошло кое-что… как бы объяснить. Некое поражение. И вы выкарабкались. С чем и поздравляю. Но все-таки наладилось еще не совсем все. У вас кое-какие затруднения с памятью. *Amnesia retrograda.* Не волнуйтесь. В большинстве случаев это проходит. Будьте добры, ответьте мне еще на несколько вопросов. Вы женаты?

– Я женат?

– Да, вы женаты. У вас замечательная жена по имени Паола, которая ухаживала за вами день и ночь, только вчера я отправил ее домой, а то она с ног валилась. А тут как раз вы и проснулись. Я ее вызову, но нужно ее тоже подготовить, да и с вами хотелось бы еще кое-какие предварительные действия произвести.

– А я не приму жену за шляпу?

– Что, что?

– Один человек принял жену за шляпу.

– А, Сакс. Известная история. Вижу, у вас чтения очень даже разнообразные… Не бойтесь, это не ваш случай. Вы же не приняли меня за печку. Может быть, вы не узнаете жену, но вряд ли примете ее за шляпу. Вернемся от жены к вам… Вас зовут Джамбаттиста Бодони. Как вам это имя, знакомо?

Память моя реяла как дельтаплан над горами и долами.

– Джамбаттиста Бодони знаменитый типограф. Но я уверен, что это другой человек, не я. Это как если бы меня спросили про Наполеона.

– А при чем тут Наполеон?

– Потому что Бодони современник Наполеона. А Наполеон Бонапарт родился на Корсике, был первым консулом, женился на Жозефине, стал императором, завоевал пол-Европы, умер на Святой Елене, и во Францию два гренадера из русского плена брели.

– К вам без энциклопедии не подходи. Все это, конечно, вы помните правильно. Насколько я способен судить. Но вы не помните, кто вы сам такой.

– Это плохо?

– Ну, если честно, не очень хорошо. Хотя не вы один в таком положении. Будем вас вытаскивать.

Он попросил меня потрогать правой рукой нос. Я прекрасно понимал, где правая, а также где нос. Я попал-таки, потрогал. Однако чувство было странное. Как будто на паль-

це у меня был глаз и этим глазом я глядел себе в лицо. И разглядел на лице нос. Гратароло побил меня по коленке, ниже коленки, по голени, по ступне специальным молоточком. Рефлексы, похоже, у меня правильные. Под конец я очень утомился и, кажется, уснул.

Я проснулся, все вокруг напоминало кабину звездолета, и я немедленно это пробормотал. Кабину звездолета из фантастического фильма; а из какого именно, спросил Гратароло. Из любого, ответил я. Вообще из фантастического фильма. Потом я напрягся и назвал «Звездный путь». Со мной делали непонятные вещи невиданными машинами. Мне, по-видимому, заглядывали в голову, на что я соглашался не раздумывая. Легкое жужжание укачивало, я просыпался и засыпал.

Позднее (может быть, на другой день?), когда вернулся Гратароло, я изучал кровать. Я щупал простыни, легкие, гладкие, приятные на ощупь; иное дело одеяло, одеяло покалывало пальцы; обернувшись, я хлопал ладонью по подушке и радовался, что выходят вмятины. Хлоп-хлоп, море удовольствия. Гратароло спросил, как насчет встать. Медсестра помогла, и я встал, хотя голова покруживалась. Ноги упирались в жесткий пол, голова устремлялась к небесам. Вот что значит стоять. Держать равновесие. Крепко стоять на ногах. *Держать равновесие* — как канатоходец. *Крепко стоять на ногах* — как русалочка.

– Ну что, попробуем перейти в ванную и почистить зубы. Там должна быть щетка вашей жены.

Я сказал, что чужую щетку никогда нельзя брать. Он ответил, что щетка жены – не чужая. В ванной было зеркало. Я уставился на себя. По крайней мере, я предполагал, что вижу именно «себя», поскольку зеркала, как известно, отражают то, что перед ними. Бледное испитое лицо, щетина, подглазья. Очаровательно. Я не знаю, кто я, но знаю, что я чучело. Не хотелось бы мне встретиться с собой ночью в темном переулочке. Мистер Хайд. Я обнаружил два предмета. Один, безусловно, зовется «зубная паста», другой при нем – «щетка». Начинаем с зубной пасты. Жмем на тюбик. Очень приятное ощущение, давить бы такие тюбики почаще, жаль, что приходится ослаблять пальцы, белая паста первым делом хлюпает, потом из тубы вылезает «танцующая змея». *Как эта женственная кожа в смуглых отливах На матовый муар похожа для глаз пытливых. Не жми сильно, не то раздавишь, как Брольо страккини тискал.* Кто же такой Брольо?

Превосходный запах у этой пасты. *Превосходно, отозвался герцог.* Интонация Сэма Уэллера. Вот, это значит вкус: что-то ласкает язык, что-то приятно нёбу, но ощущается вкус все-таки благодаря языку. Вкус мяты – *мята, змея, полуночь, в пятом часу пополудни… y la hierbabuena, a las cinco de la tarde…*

Я отважился и проделал все, что проделывается другими в этих условиях, стремительно и бездумно, а именно: подви-

гал щеткой сначала вверх-вниз, потом влево-вправо, потом по жевательным поверхностям. Интересное ощущение, когда щетина просовывается в щель между зубами, пожалуй, буду чистить зубы почаще, удовольствие. Я потер щетиной по языку. Сильная щекотка, но если не нажимать, приятно. До того язык был обложен, а теперь прошло. Дальше я сказал себе: прополощу. Налил воду в стакан из крана и набрал ее в рот, приятно подивившись на то, как она булькает, а лучше всего вода булькала, если закинуть голову и… как это… похлюпать? Поклокотать. Славно вышло. Я надул щеки и все это выплюнул. Фонтан. Фырк-фырк, небесная хлябь. Губами какой хочешь напор можно создать, они очень послушные. За моей спиной Гратароло пялился на меня *как на новые ворота* (есть такое выражение, я убежден), и я спросил, все ли его устраивает.

Все устраивает, ответил Гратароло. Автоматические навыки, пояснил он, у меня сохранны.

– Похоже, здесь стоит почти нормальный человек, – парировал я. – Жаль только, что это не я.

– Очень остроумно, остроумие тоже добрый знак. Ложитесь-ка снова, вот, давайте я помогу. Скажите, чем вы сейчас занимались.

– Чистил зубы, по вашему повелению.

– Да, чистил зубы. А перед этим что вы делали?

– Лежал на этой кровати и беседовал с вами. Узнал от вас, что сейчас апрель 1991 года.

– Да, хорошо. Кратковременная память не нарушена. Скажите, помните ли вы марку зубной пасты?

– Нет. А что, надо помнить?

– Ничего не надо. Вы, естественно, видели марку, когда брали в руку тюбик, но если бы наш мозг фиксировал и сохранял все получаемые стимулы, наша память превратилась бы в помойку. Поэтому мозг фильтрует. Вы поступили как все остальные. Теперь вспомните самое существенное, что случилось, когда вы чистили зубы.

– Я потер щеткой язык.

– Зачем?

– Затем что язык был обложен. Потер, и во рту стало лучше.

– Видите? Вы отобрали из всех впечатлений самое эмоциональное, связанное с желаниями и с вашими собственными потребностями. У вас опять имеются эмоции.

– Тоже мне эмоция – тереть щеткой по языку. Но я не помню, тер ли когда-либо в прошлой жизни.

– До этого мы дойдем. Видите, дорогой Бодони, как бы это выразить без сложной терминологии, суть в том, что случившееся затронуло некоторые участки вашего мозга. Так вот, врачи, невзирая на то что каждый день печатаются исследования на эту тему, пока не представляют себе в точности, какой отдел нашего мозга за что отвечает. В особенности что касается разнообразных типов памяти. Рискну сказать даже: если бы с вами это стряслось через десять лет, врачи лучше

бы знали, что с вами делать. Не перебивайте меня, я тоже понимаю, что если бы это стряслось сто лет назад, вы бы уже сидели в психбольнице. Сейчас науке известно больше, но ей известно не все. Например, если бы вы лишились дара речи, мне не стоило бы труда назвать травмированную зону…

– Центр речи Брока.

– Вот-вот. Этот центр Брока известен уже сто лет. А вот где мозг накапливает воспоминания – об этом ученые не перестают спорить, и всем уже ясно, что речь идет не об одной четко очерченной зоне. Не буду утомлять вас научными определениями, которые вдобавок могут еще дополнительно запутать всё у вас в голове, знаете, когда люди выходят от зубного врача, они потом еще несколько дней трогают языком зуб, который сверлили или латали, и вот если я скажу, допустим, что меня не столько беспокоит ваш гиппокампус, сколько лобные доли, конкретнее – кора правой лобной доли, вы будете инстинктивно тормошить эту зону мозга, как язык тыкается в рассверленный зуб. Сплошной стресс без пользы. Поэтому вы забудьте, что я сейчас говорил. И вдобавок мозг мозгу рознь, мозг невероятно пластичен, и может случиться, что скоро функции пораженной зоны возьмет на себя другая. Вы следите и вам удается понимать?

– Все совершенно понятно. Продолжайте. Короче, я «обеспамятевший из Колленьо».

– Видите, вы его помните, этого обеспамятевшего. Потому что он классический случай. А себя самого вы не

помните, потому что вы случай не классический.

– Лучше бы я забыл обеспамятевшего из Колленьо и вспомнил, где сам родился.

– А вот это был бы более редкий вариант. Видите, вы сразу все поняли про тюбик зубной пасты, но не в состоянии вспомнить, что женаты, – и действительно, знание о собственном браке и знание, на что нужна зубная паста, заложены в двух разных областях мозга. Видов памяти несколько. Одна память называется имплицитной, она позволяет производить последовательности действий, закрепившиеся на рефлекторном уровне, то есть чистить зубы, включать радио, завязывать галстук. Проведя опыт с чисткой зубов, я практически уверен, что вы умеете писать и, может быть, даже водить машину. Действуя на основании имплицитной памяти, мы и не сознаем, что что-то помним, мы действуем автоматически. Кроме того, бывает память эксплицитная, то есть когда мы помним, что что-то помним. Однако эксплицитная память – вещь двоякая. Она включает в себя то, что нынче принято называть семантической памятью, то есть это память общепринятая: курица – птица, у птицы перья, а Наполеон умер… в общем… ну, когда вы сказали. На состояние этой вашей памяти, мягко говоря, жаловаться нечего, вас тронь только, и вылезает куча воспоминаний, цитат, готовых фраз. Но эта часть эксплицитной памяти самая первоочередная, она, скажем, формируется у ребенка прежде всех прочих: ему объяснили, что это машина, это собака, тем са-

мым складываются общие понятия, и когда ребенку скажут «собака» на овчарку, он потом сам скажет «собака» на лабрадора. Но вот что ребенку стоит больших сил и времени, это вторая часть эксплицитной памяти, то есть эпизодическая, или автобиографическая. Ребенок не сразу способен припомнить, увидев, скажем к примеру, собаку, что месяц тому назад он приезжал к бабушке и у нее в саду была собака и что собаку у бабушки в саду видел лично он. Именно эпизодическая память увязывает то, чем мы являемся, с тем, чем мы являлись, иначе, говоря «я», мы должны были бы подразумевать только то, что ощущаем в момент говорения, а не то, что ощущали до акта говорения, и все остальное терялось бы, как вы выразились, в тумане… Вы утратили не семантическую память, а эпизодическую, забыли события своей жизни. В общем, вам известно только то, что известно и другим, и вероятно, спроси я, какой город столица Японии…

– Токио. Атомная бомба на Хиросиму. Генерал Мак-Артур…

– Хватит, хватит. Вы помните все, о чем читали или слышали, но не то, что сами переживали. Вы знаете, что Наполеона разгромили под Ватерлоо, но попробуйте рассказать мне о собственной матери.

– *Mamma ce n'è una sola, la mamma è sempre la mamma.* Но я свою *mamma* не помню. Полагаю, что она у меня была, от кого-то же я родился, но… сплошной туман. Мне плохо,

доктор. Это ужасно. Дайте мне что-нибудь, уснуть обратно.

– Дам, дам, я уж и так слишком вас истерзал. Ложитесь удобнее, вот так, хорошо… Повторяю, это случается, но от этого можно вылечиться. Запаситесь терпением. Я попрошу, чтобы вам принесли чай. Вы чай любите?

Может быть, да, может быть, нет.

Чай принесли. Медсестра подняла меня на подушках и поставила передо мной поднос. Влила кипяток в чашку с пакетиком. Осторожно, горячий, сказала сестра. Осторожно – это как? Я внюхивался. Запах был какой-то дымный. Я решил попробовать, что за вкус. Хлебнул. Ужас. Огонь, пламя, оплеуха во рту. Значит, это – горячий чай. Горячий кофе или отвар ромашки в горячем виде – верно, такие же. Теперь я знаю, что значит обжечься. Это знают все на свете: не трогать огонь. Но я не знал, когда горячую воду трогать еще нельзя, а когда уже можно. Я машинально дул на жидкость, после чего поплюхал в стакане ложечкой, покуда не решил, что можно пробовать опять. Сейчас чай был теплым, и пить его было приятно. Я не очень понимал, какой вкус чайный, какой сахарный, я знал, один из них *терпкий,* другой *сладкий,* но что такое сладость, что такое терпкость? Их сочетание мне все же понравилось. Буду всегда пить вот такой чай с сахаром. Но не кипящий, разумеется.

От чая мне стало мирно, стало расслабленно, и я заснул.

Потом я снова проснулся. Все чесалось. Я скреб промеж-

ность и мошонку. Под простынями было потно. *Пролежни?* Промежность была влажной. Но если сильно нажимать пальцами, после первых минут необузданной радости трение становится болезненным. С мошонкой иное дело. Ее можно пропускать между пальцами нежно и деликатно, не надавливая на яички, и чувствовать под пальцами зернистость и волосистый кожный покров. Мошонку теребить приятно, легчайший зуд сразу не исчезает, а более того, растет, отчего чесать все слаще и слаще. *Предел величины удовольствия есть устранение всякого страдания,* но зуд – не боль, а приглашение к удовольствию. *Щекотка плоти.* Поддаваясь щекотке плоти, отроки нередко впадают в рукоблудный грех. Осмотрительный отрок спит навзничь, скрестивши руки на груди, дабы во сне не совершить блудодеяния. Странная вещь плотский зуд, удивительно, сколько выражений связано с яйцами. *Крутить яйца… Не яйца красят человека, а человек яйца… Роковые яйца…*

Я открыл глаза. На стуле сидела дама, уже не молодая, за пятьдесят, у глаз морщинки, но лицо свежее и светлое. Седина в волосах не очень заметна – несколько прядей, в которых свое кокетство: не притворяюсь девочкой, однако выгляжу вполне нормально, а уж для моего возраста так даже и очень хорошо. Собой эта дама была весьма мила, а в молодости, надо полагать, считалась просто красавицей. Она погладила меня по голове.

– Ямбо, – сказала она.

– Ямбо, то есть, простите?

– Ты у нас Ямбо. Тебя так все называют. Я Паола, твоя жена. Ты меня узнал?

– Нет, извините, то есть извини, Паола, думаю, ты слышала от доктора…

– Слышала, я все слышала. Ты не можешь вспомнить, что было с тобой, но помнишь, что было с другими. Поскольку я часть твоей личной истории, то ты не помнишь, что мы с тобой, Паола с Ямбо, уже женаты тридцать лет. И что у нас две дочери, Карла и Николетта, и трое замечательных внуков. Карла вышла замуж рано, родила двоих, Алессандро сейчас пять лет, Луке три года. Есть еще Джанджо, Джанджакомо, это сын Николетты, ему тоже три. Ты о них всегда говоришь «двоюродные близнецы». Ты был… и будешь, разумеется… очень нежным дедом. И был хорошим отцом.

– А в смысле, ну, мужем я тоже был хорошим?

Паола сделала страшные глаза:

– Скажем так: за тридцать лет разное бывало. Ты считался у нас ого-го…

– Вчера, сегодня, завтра… я в зеркале вижу кошмарную морду…

– На фоне того, что с тобой было, скажи спасибо и за эту морду. Но ты был красив, ты и сейчас еще красив, подкупающая улыбка, вот дамочки и подкупались. Ты со своей стороны заявлял, что в жизни можно устоять перед всем, кроме соблазнов.

– Прости уж за все за это…

– Конечно, как вон сначала запустили умные ракеты на Багдад, а потом извинялись, что вышел просчет и подвернулись женщины и дети…

– Ракеты на Багдад? Как-то не помню, где – в «Тысяче и одной ночи»?

– Война, война в Заливе, сейчас она окончилась, а может, еще и нет. Ирак полез в страну Кувейт, а западные государства стали Кувейт отбивать. Ты ничего не помнишь?

– Доктор сказал, что эпизодическая память – та, которую у меня заколодило, – связана с волнениями. Вероятно, эти ракеты на Багдад меня в свое время разволновали.

– Еще как разволновали. Ты убежденный пацифист. Эта война очень била тебе по нервам. Около двухсот лет назад Мэн де Биран предложил выделять три типа памяти: идеи, ощущения и привычки. Ты сохранил память на идеи и привычки, но не на ощущения, которые на самом деле были тебе всего ближе.

– Откуда ты знаешь столько всего умного?

– Я по профессии психолог. Но подожди минуточку. Ты сказал «заколодило». Почему ты употребил это выражение?

– Ну, так говорят.

– Говорят. Обычно так говорят про китайский бильярд, про флиппер. А ты обожаешь, обожал флиппер, вечно играл и радовался, как дитя.

– Я знаю, что такое флиппер, Паола. Но я не знаю, что

такое я. Понимаешь? На Паданской низменности ожидается переменная облачность… Ой, кстати, а мы сейчас тут где?

– На Паданской низменности. Мы живем в Милане. Зимой из наших окон виден парк и туман в парке. Ты миланец, ты букинист, у тебя лавка антикварных книг.

– Проклятие фараона. Родился с фамилией Бодони плюс еще имя Джамбаттиста, чем это могло кончиться, понятно.

– Ничем это плохим не кончилось, в кругах антикваров ты уважаемая особа, мы не миллионеры, но вполне благополучны. Я тебе помогу, мы понемножку починим твою голову. Господи, как подумаю, что нам угрожало и что ты вообще мог не проснуться. Должна сказать, доктора действительно оказались на высоте и вполне успели сделать что надо и когда надо. Месье Ямбо – добро пожаловать обратно – с чувством глубокого удовлетворения… Ты так смотришь, будто впервые меня видишь. Если бы я тоже впервые тебя сейчас увидела, я, думаю, согласилась бы выйти снова за тебя замуж.

– Ты такая хорошая. Ты такая нужная. Только ты можешь помочь мне восстановить мои последние тридцать лет.

– Тридцать пять. Мы познакомились в университете в Турине. Ты был на последнем курсе, а я только поступила и в полном обалдении бродила по коридорам главного здания. Я спросила номер аудитории, ты моментально приклеился и соблазнил неопытную школьницу. Потом это как-то так тянулось, мне было замуж рано, ты уезжал за границу на три года. Потом мы поселились вместе, чтобы проверить чувства,

тут оказалось, что я беременна, и ты на мне женился, потому что джентльмен. Ладно, кроме шуток, мы, конечно, очень любили друг друга, и ты хотел стать отцом. Не волнуйся, папочка, я напомню тебе обо всем понемножку, все наладится, увидишь.

– Если только это все не мышеловка и в действительности меня не зовут Феличино Гримальделли, по прозвищу Отмычка, известный вор-домушник, и вы с Гратароло не пудрите мне мозги в каких-то там ваших тайных целях, ну, скажем, вы оба из органов, должны закодировать мне новую личность, чтобы потом меня заслать за Берлинскую стену, как в «Досье “Ипкресс”», и дальше по фильму…

– Берлинской стены уже нет, ее сломали, от советской империи остались рожки да ножки.

– Господи милостивый, на секунду отвернешься, вы империю развалили, стену Берлинскую сломали… Ладно, я пошутил. Придется верить в твою легенду. Что мы знаем о Брольо и о его страккини?

– Какой Брольо? Страккино – пьемонтское название такого мягкого сыра, который в Милане называется крешенца. Откуда к тебе страккини?

– Когда я выжимал пасту из тюбика. Подожди. Ну как же. Был художник Брольо, у которого картины не покупали, но идти работать он не хотел, заявлял, что у него невроз. Его содержала сестра. И конце концов друзья пристроили его на какую-то сыродельную фабричку. Он ходил мимо сыров стр-

аккини, завернутых в вощеную бумагу, и не мог удержаться от соблазна и якобы по причине невроза давил один сыр за другим, и они с хлюпаньем вылезали из упаковок. Перепортил столько продукции, что его уволили. Вот это я понимаю, невроз. Тискать страккини, *sgnaché i strachèn,* род наслаждения. Господи, Паола, это же детская память! Значит, я не весь свой личный опыт позабыл?

Паола улыбнулась:

– Да, я тоже вспомнила, извини. Ты, конечно, помнишь эту хохму с детства. Но ты часто рассказываешь эту историю, она входит в твой ударный набор, развлекаешь друзей за столом этим рассказом о художнике и страккини. К сожалению, ты сейчас восстановил не собственный опыт, а припомнил многократно рассказанный сюжет, который для тебя уже, ну, как бы это сказать, обрел характер общеизвестного, вроде Красной Шапочки.

– Ну что бы я без тебя делал. Хорошо, что ты моя жена. Спасибо, что ты есть, Паола.

– Господи, еще месяц назад ты сказал бы: «спасибо, что ты есть» – пошлятина из телесериала.

– Ну уж прости. У меня не выходят личные высказывания. У меня нет чувств. Только клише.

– Бедненький.

– А «бедненький» не клише?

– Сволочь ты, вот что.

Эта Паола, похоже, меня и вправду любит.

Ночь я провел спокойно, знать бы, что мне вкачал через капельницу Гратароло. Просыпался я настолько постепенно, что глаза еще не открылись, а я уже слышал шепот Паолы:

– А не может это быть психогенная амнезия?

– Я вовсе не исключаю, – отвечал Гратароло. – Причиной подобных случаев, как правило, является отек. Ну, вы видели снимки. Часть мозга поражена необратимо, что говорить.

Я открыл глаза и объявил, что проснулся. В палате были еще две женщины и трое детей. Я их видел впервые, но, конечно, сообразил, кто они. Ужас какой. Жена еще ладно, но все же дочки-то, господи, они плоть от плоти твоей, а уж внуки и тем более; у дочек глаза были от радости на мокром месте; дети порывались влезть на койку, хватались за мои руки и лепетали «деда, деда», а я… ну что сказать. Даже не туман. Апатия. Может быть, точнее было бы – атараксия? Глядел на них как в зоопарке: не больше чувств, чем к обезьянам или жирафам. Я, конечно, улыбался и говорил с ними ласково, но в душе была полная пустота. Мне пришло в голову слово *sgurato,* но я не знал, что оно значит. Спросил у Паолы. Это по-пьемонтски «отдраенный», то есть когда кастрюлю металлической мочалкой трут до блеска и она сверкает и лучится в своем нутре, чище невозможно. Ну вот, в голове у меня было все отдраено. Гратароло, Паола, девочки пытались срочно запихнуть мне в голову кучу мелких подробностей моей жизни, но вся информация перекатывалась в от-

драенном черепе как сухая фасоль, не было от информации ни навара, ни подливки, никакого вкуса, никакого аппетита. Я запоминал факты своей биографии, как будто они относились к кому-то чужому.

Я гладил детишек и обонял детский запах, но не умел определить его, все, что мог сказать, – это запах нежный. Я способен был сказать только: *Нередко запах свеж, как плоть грудных детей.* Моя голова, однако, была не вполне пуста, в ней клубились ошметки чужой памяти: Маркиза вышла в пять часов гулять, земную жизнь пройдя до половины. Вставай, проклятьем заклейменный – стоит ноябрь уж у двора. Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, а заодно Рокко и его братьев. И тут я увидел маятник, превыше пирамид и крепче меди! Здесь будет создана Италия. Мы создали Италию. Ты знаешь край лимонных рощ в цвету, где воздух воет, как в час бури море? С холма, где путники прощаются с Сионом, я видел град родной в его последний час. Туда, туда, возлюбленный, туда нам скрыться б навсегда! Туда, сюда, вниз, кверху, злое племя! Кто там стучится в поздний час? Конечно, я – Финдлей! О мать, о мать, ужели ты нарочно ко мне пришла, чтоб жизнь мою скончать? Слышишь, бьет ужасный час! Укрепитесь, силы! Вместе к смерти! Ищут нас бросить в ров могилы! Как каждая несчастная семья, в начале жизни школу помню я. Безжалостный отец, безжалостная мать, затем ли вы мое вскормили детство, чтоб сыну вашему по смерти передать один позор и нищету в на-

следство… Радость, первенец творенья, дщерь великого Отца! Радость, ты искра небес, ты божественна, дочь Елисейских Полей! Ночи безумные, ночи бессонные, чаши полнее налей! Жить и любить давай, о Лесбия, со мной! Смотреть, как черных волн несется зыбкий строй. Зачем же любишь то, что так печально, встречаешь муку радостью такой? Глядит на воды с вышины – раздвинулась волна, и выплывает из воды прекрасная жена. У молодой жены богатые наряды, на них устремлены двусмысленные взгляды. Свобода приходит нагая, из русского плена бредя… Едва дрожит простор волны хрустальной, как спящей девы млеющая грудь. Равным бессмертным кажется оный муж, пред твоими, дева, очами млеющий, близкий, черплющий слухом сладкие речи… Умножь теперь свой гнев и будь бодра, как прежде, и стары злы дела почти за добродетель! В тебе, в тебе одной природа, не искусство, ум обольстительный с душевной простотой! Я твой, я твой, когда огонь Востока моря златит! Я твой, я твой, когда сапфир потока луна сребрит! Ты отверзаешь нам далекие границы к пути, в который мы теперь устремлены! Итак, прощайте, скоро, скоро переселюсь я наконец в страну такую, из которой не возвратился мой отец! Той порою, как я, без нужды в парусах, уходил, подчиняясь речному теченью, в тополевой тени гуляя, муравей в прилипчивой смоле увяз ногой своей: так аргивяне, трояне, свирепо друг с другом сшибаясь, падали в битве. Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына! *Mehr Licht Mehr Licht*

über alles, твой прах сойди в могилу, а душу бог помилуй. Все прочее – литература. Имена, названия, термины. Анджело Далль'Ока Бьянка, лорд Бруммель, Пиндар, Флобер, Дизраэли, Ремиджио Дзена, палеоцен, Фаттори, Страпарола и его приятные ночи, маркиза Помпадур, Смит-и-Вессон, Роза Люксембург, Дзено Козини, Пальма Старший, археоптерикс, Чичеруаккьо, Матфей-Марк-Лука-Иоанн, Пиноккио, Жюстина, Мария Горетти, Фаида эта, жившая средь блуда, остеопороз, Сент-Оноре, Бакта, Экбатана, Персеполь, Суза, Арбела, Смирна, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака, Афины, Александр и гордиев узел.

Энциклопедия осыпала меня палыми листьями, хотелось отмахаться, как от роя пчел. А дети лепетали «деда, деда», я понимал, что должен бы любить их больше жизни, но я не знал, кого зовут Джанджо, кого Алессандро, а кого Лука. Я знал все об Александре Македонском и ничего об Александре – своем внучонке.

Я сказал, что хочу отдохнуть и поспать. Когда все вышли, я заплакал. Слезы соленые. Следовательно, чувства я все-таки испытывал. Да, но только самые распоследние чувства. А чувства былые больше мне не принадлежали. Интересно, подумалось: а веровал ли я прежде в бога? В любом случае, какое бы ни иметь понятие о душе, я, несомненно, душу утратил.

На следующее утро, при Паоле, Гратароло усадил меня

за стол и показал множество разноцветных квадратов. Стал спрашивать, где какой цвет. Цветики-семицветики, вынь ему да положь ответики. Черного и белого не называйте, «да» и «нет» не говорите.

Я ловко распознал основные шесть или семь цветов: красный, желтый, зеленый и прочие в этом роде. Я, конечно, сказал «А черный, белый Е, И красный, У зеленый», однако подумал, что поэт наплел невесть что. С какой стати А называть черным? Вообще цвета показались мне совершенно новым открытием. Красный был очень веселым. Пламенный: это как-то даже слишком. Наверное, еще ярче красного был желтый. Будто свет зажгли прямо перед глазами. Зеленый оказался мирным. Но доктор пристал с новыми квадратиками, и дело пошло хуже. Это зеленый, бубнил я упрямо, а Гратароло: в каком смысле зеленый, чем он отличается вон от того зеленого? Почем я знаю. Паола объясняла мне, что один зеленый мальвовый, а другой гороховый. Мальва – цветок, отвечал я, а горох – съедобный овощ, в длинном торчащем стручке кругленькие шарики. Но я ни разу в жизни не видел ни мальву, ни горох с его шариками. Вы только не волнуйтесь, отвечал на это Гратароло, в английском существует более трех тысяч названий оттенков, но люди, как правило, употребляют только семь или восемь слов, средний человек использует в речи цвета радуги, то есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый, но как доходит до фиолетового и пурпурного, народ, как правило, и в

них-то путается. Нужен специфический опыт, чтобы разбирать и определять оттенки, художник их поименовывает, ясное дело, квалифицированнее, скажем, нежели водители автотранспорта, от которых требуется не путать сигналы светофора, остальное – по усмотрению.

Гратароло выдал мне бумагу и ручку. И сказал писать. «Что мне писать?» – написал я, и это вышло так естественно, как будто ничем другим я от веку не занимался, фломастер был сочным и мягким, бумага – приятной.

– Пишите все, что приходит на ум, – сказал Гратароло.

На ум? Я написал. Ум с сердцем не в ладу. Лад. Когда я с милою вдвоем, то все идет на лад, и целый мир мне нипочем, и сердцем я богат. Сердце. Мне сжавший сердце ужасом и дрожью… Ужасом сделаю тебя, сказал Господь. Мой Спас – Господь, я сам беда моя. Беда. Беда Достопочтенный. Краткое указание ошибки достопочтенного Декарта. Де Карта. Маркиз, убита ваша карта. Убит, к чему теперь рыданья. Пал на грудь к нему с рыданьем, дух очистил покаяньем. В здоровом теле здоровый дух. Дух вон. Дух – вонь?

– Напиши о себе, – сказала Паола. – Что ты делал в двадцать лет?

Я написал: «Мне было двадцать лет. Никому не позволю утверждать, что это лучший возраст».

Доктор попросил написать, о чем я подумал прежде всего, когда проснулся. Я написал: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у

себя в постели превратился в страшное насекомое».

– Пожалуй, лучше перестанем, доктор, – сказала Паола. – Хватит этих ассоциативных цепочек, а то он совсем сойдет с ума.

– А сейчас я, по-твоему, в своем уме?

Вдруг неожиданно и резко Гратароло скомандовал:

– Теперь поставьте подпись не размышляя, как на чеке.

Не размышляя? Я нацарапал *GBBodoni,* с кривулей в конце и круглой точкой над i.

– Ага! Голова не понимает, кто вы. А рука понимает. Так я и думал. Еще вот попробуем. Вы говорили о Наполеоне. Как он выглядел?

– Я не могу вспомнить лицо. Только имя.

Гратароло спросил у Паолы, как у меня с рисованием. Выяснилось, что я не ахти какой живописец, но что-то нацарапать могу. Он попросил нарисовать Наполеона. Я изобразил нечто в таком духе.

– Неплохо, – отозвался Гратароло. – Вы нарисовали свое представление о Наполеоне, набор обязательных признаков: треуголка, рука в вырезе сюртука. Теперь я покажу вам кое-какие изображения. Сначала из области искусства.

С этим я справился: Джоконда, «Олимпия» Мане, Пикассо или хороший подражатель.

– Видите, это вам нетрудно? Перейдем к современным героям.

Снова картинки, и снова, за исключением нескольких незнакомцев, я не подкачал: Грета Гарбо, Эйнштейн, Тото, Кеннеди, Моравиа – и чем они знамениты. Гратароло спросил, что у них у всех общего. Популярность, надо отвечать? Слабовато вроде бы? Я колебался.

– Да ведь они же все умерли, – сказал Гратароло.

– Как, и Кеннеди с Моравиа тоже?

– Моравиа умер в конце прошлого года, Кеннеди застрелили в Далласе в 1963 году.

– Боже, как обидно.

– Что вы не помните смерть Моравиа, это почти нормально, событие свежее и еще пока не закрепилось в вашей семантической памяти. Не понимаю, почему это распространяется на смерть Кеннеди, это ведь дело давнее, из энциклопедии.

– Смерть Кеннеди его очень потрясла, – сказала Паола. – Поэтому Кеннеди, видимо, врос в его личную собственную память.

Гратароло вытащил другие фотографии. Сидят двое, один из которых явно я, по-человечески одетый и постриженный и с той подкупающей улыбкой, которую описывала Паола. Другой тоже симпатичный, но кто такой – неведомо.

– Это Джанни Лаивелли, самый лучший твой друг, – сказала Паола. – Вы просидели за одной партой всю школу.

– А это кто? – спросил Гратароло и показал другую картинку. Давний снимок. У нее укладка тридцатых годов, целомудренный вырез, белое платьице и нос немножко картошкой, у него замечательный пробор, чуть примазанный бриллиантином, нос решительный, хорошая улыбка. Лица неопределимые. Артисты? Непохоже, нет апломба. Молодожены. У меня в груди что-то сжалось до полуобморока.

Паола заметила, что мне не по себе:

– Ямбо, это свадьба твоих родителей.

– А они живы? – спросил я.

– Нет, их давно нет в живых. Они погибли в автокатастрофе.

– Вас разволновал этот снимок, – сказал Гратароло. – Некоторые изображения вас бередят. Это и есть путь к успеху.

– Да какой, к черту, путь, если даже папу-маму я не могу выудить из этой злосчастной черной дырки! – заорал я. – Вы говорите, что эти двое мои родители. Теперь я так и буду думать. Но это воспоминание я получил от вас. Отныне я буду помнить родителей, но не родителей, а эти ваши фото.

– За последние тридцать лет вы неоднократно вспоминали своих родителей и глядели на эти фото. Вы и прежде помнили их по снимку. Не надо представлять себе память вроде большой кладовки, куда укладываются воспоминания и откуда мы их по требованию вытаскиваем в том же виде, в котором заложили, – сказал Гратароло. – Я избегаю излишних техницизмов, но скажу вам все-таки, что воспоминание – это воспроизведение цепочек нейронного возбуждения. Предположим, вам известно некое место, но потом с вами случается в нем какая-то свежая неприятность. Отныне, когда вы будете вспоминать про это место, ваш мозг будет воспроизводить первоначальную последовательность возбуждения нейронов, но с добавкой нового элемента – неприятного ощущения, то есть каждая позднейшая цепочка пусть и подобна, но не идентична первоначальной цепочке, которая возникла в момент изначального возбуждения. В общем, любое воспоминание заключает в себя также и то, что мы узнавали о предмете с ходом времени. Это нормально. Так устроена память. Поэтому я хочу, чтобы, когда вы восстанавливаете цепочки возбуждения нейронов, вы не старались оголтело докопаться до подлинных воспоминаний, которые якобы в нетронутом виде лежат в голове. Вот вы видите этот снимок, на нем изображены ваши родители, это изображение вам показано здесь и сейчас. Мы увидели его с вами вместе. Вы должны составить себе воспоминание исходя из этого изображения. Вспоминать – работа, а не гарантированная

привилегия.

– *Печальная, долгая память,* – продекламировал я. – *Шлейф смерти несем за собой.*

– Помнить приятно, – сказал Гратароло. – Кто-то сказал, что память подобна собирающей линзе в камере-обскуре. В ней все сосредоточено, и картинка в ней гораздо ярче, чем было дело в реальной жизни.

– Как-то курить захотелось, – сказал я.

– Значит, организм возвращается в привычное состояние. Но все-таки курить бы вам не надо. И по возвращении домой не злоупотребляйте алкоголем. Стакан вина за обедом, стакан за ужином, никак не больше. У вас с давлением не идеально. А то раздумаю выписывать вас завтра.

– Как, завтра? – переспросила Паола, по-моему, в легком ужасе.

– Пора закругляться. Ваш муж, сударыня, в смысле физического состояния вполне самодостаточен. Способен ходить без присмотра и с лестницы не свалится. Держать тут у нас, изводить обследованиями, все это внешний опыт, к каким результатам он приводит – мы можем видеть. Я думаю, ему пойдет на пользу домашняя обстановка. Люди выздоравливают от родной домашней пищи, от запаха, ну не знаю… в этих вещах писатели разбираются лучше неврологов…

Не то чтобы я стремился все время образованность показать, но поскольку уж у меня имелась только проклятая семантическая память, хоть ее-то следовало использовать.

– Печенье мадлен, Пруст, – сказал я. – Вкус липового настоя и лепешечки доводят его до дрожи. Он чувствует свирепую радость. В памяти всплывают воскресенья в Комбре с тетушкой Леонией… Похоже, что есть непроизвольная память членов, ног, рук, они полны онемевших воспоминаний… А вот еще чье-то. *Ничто так не пробуждает воспоминания, как запахи и огни.*

– Вот-вот, я именно об этом. Ученые иногда больше узнают от писателей, нежели от своих машин. Вы, сударыня, специалист почти что в нашей области: хотя и не невролог, но психолог все-таки. Я вам приготовил несколько книг по вопросу, описания нескольких знаменитых клинических случаев, и вы быстро войдете в ту самую проблематику, которая имеет отношение к вашему мужу. Думаю, что находиться в контакте с вами и с дочерьми, возвращаться к работе ему полезнее, чем торчать у нас. Показывайтесь раз в неделю, и будем наблюдать динамику. Так что домой. Оглядитесь, общупаетесь, обнюхаетесь, начнете читать газеты, смотреть телевизор, накапливать зрительные образы.

– Попробую. Но я ведь не помню ни образов, ни запахов, ни вкусов. Одни слова, и ничего, кроме слов.

– Сейчас не помните, а потом вдруг вспомните. Ведите дневник, фиксируйте свои реакции. Будем работать в этом направлении.

Что ж, заведу дневник.

Назавтра я собирал манатки. Потом спустился с Паолой. В больнице, по-видимому, был кондиционер, поскольку, лишь выйдя на улицу, я ощутил, что значит, когда пригревает солнце. Нежное, весеннее солнце, еще незрелое. От света я зажмурился. На солнце смотреть нельзя: *солнце, сияющий изъян…*

Мы открыли дверцу машины (впервые ее видел), и Паола предложила мне сесть за руль.

– Поставь на нейтралку, включи зажигание. Передачу не включай. Можешь попробовать газ.

Как будто я всю жизнь проработал шофером, я прекрасно понимал, куда девать руки, куда ноги. Паола села рядом, и мы включили первую скорость, я отпустил сцепление, выжал газ, чуть-чуть, и проехал два или три метра. Потом нажал на тормоз и заглушил двигатель. Самое страшное, что меня ожидало при ошибке, это канава в ближних кустах. Но ошибки не произошло. Я был страшно горд. Я опять запустил двигатель и включил заднюю передачу. Доехал до своей стартовой точки и наконец передал руль Паоле, и мы двинулись из клиники.

– Как тебе внешний мир? – поинтересовалась Паола.

– Да не знаю. Говорят, что кошки, выпадая из окна, если стукаются носом, перестают чувствовать запахи, а поскольку у котов главное – обоняние, они перестают понимать мир. Так вот, я кот, стукнувшийся носом. Я вижу вещи, я знаю их

названия, вот это магазины, это едет велосипед, а там деревья, – но я не чувствую предметы… будто надел чужой пиджак.

– Безносый кот в чужом пиджаке. Типичный приступ метафоризма. Пусть тебя полечит Гратароло, впрочем, думаю, само пройдет.

Я осматривался, опознавал цвета и формы незнакомого города.

Глава 2
Как шелест листьев тутовника в руке садовника

– Куда мы теперь, Паола?

– Домой.

– А потом?

– Заселимся, разберем чемодан.

– А потом?

– Что потом? Помоешься, побреешься, переоденешься, поужинаем. Что ты хотел бы на ужин?

– Вот этого я и не знаю. Я помню все, что происходило со мной, когда проснулся. Помню все то, Помню все, что касается Юлия Цезаря. Но не могу предугадать, что будет происходить завтра и потом. Пока что я беспокоился не о завтра, а о том, что не мог припомнить совершенно ничего про позавчера. Но теперь мы движемся вперед… а впереди туман, там такой же густой туман, как за плечами. Ну, даже если не совсем туман. Но все равно колени у меня ватные. Не знаю, как мне сделать шаг. Это как прыгать.

– Что ты имеешь в виду? Под «прыгать»?

– Ну, прыгать, совершать рывок вперед. Чтоб прыгнуть, требуется разбежаться. А значит, требуется вернуться назад. А не вернешься назад – не скакнешь вперед. Вот мне и ка-

жется, что я, пока не знаю, чем жил до сих пор, не сумею продолжать жить. Обычно всякий замысел рассчитан на то, чтоб изменить положение вещей. Ты мне сказала – бриться. Я провожу рукой по шее – и действительно, колется, заросла. Ты говоришь обедать, и точно, я вспоминаю, что в последний раз питался вчера, это был ужин. Супчик, ветчина, печеная груша. Но одно дело – распланировать на основании опыта такие действия, как бритье или обед, а другое дело – запланировать жизнь. Не понимаю, что имеют в виду под жизнью, я не помню, какой она была до сих пор. Понимаешь?

– Смысл твоих слов – что ты не ощущаешь проживания во времени. Между тем все мы живем в связке со временем, мы и время – одно. Ты очень любил одну цитату из святого Августина, как раз на эту тему. Ты всегда говорил об Августине: один из умнейших людей всех времен и народов. Он и нам, современным психологам, до нынешних пор очень полезен. Наша связь с жизнью троякая – ожидание, внимание и память, и все они взаимоувязаны. Ты не умеешь ожидать будущего, потому что утратил память прошлого. От того, что ты знаешь поступки Цезаря, тебе не проще осознавать свои поступки.

Паола увидела, как я стиснул зубы, и переменила разговор:

– Милан, твоя среда обитания.

– Первый раз в жизни эту среду вижу.

Мы повернули на широкую площадь, я механически пе-

речислял:

– Замок Сфорца. Домский собор. Тайная вечеря и картинная галерея Брера.

– А что ты помнишь о Венеции?

– Каналь Гранде, мост Риальто, собор Святого Марка и гондолы. Что пишут в путеводителях, я знаю. И даже если бы я в Венеции сроду не был, я знал бы то же самое. А что касается Милана, хоть я живу тут тридцать лет, он для меня точно как Венеция. Или как Вена. Кунстхисторишес музеум, третий человек, Гарри Лайм на колесе в Пратере говорит, что швейцарцы придумали кукушку. И кстати, это абсолютное вранье, потому что кукушку придумали баварцы.

Вот и наша квартира. Превосходная квартира, с балконами на деревья парка. Видимо, то, что видно с балкона, называется «колышутся кроны». Действительно, когда природу хвалят, то не врут, она очень мила, природа. В квартире ценная старинная мебель, то есть я и впрямь состоятельный человек. Но я не знаю квартиры, не могу угадать, где гостиная, где кухня. Паола зовет Аниту, нашу домработницу-перуанку. Знакомство. Бедняжке очень нелегко со мной знакомиться по новой, она суетится, заводит меня в ванную, показывает, где зажечь свет, приговаривает:

– *Pobrecito* наш синьор Ямбо, *ay Jesusmaria,* вот здесь чистые полотенца, синьор Ямбо.

После выписки из больницы, суеты, волнения, солнца, пе-

реезда я ощущал, что покрылся потом. Я понюхал подмышку: собственный пот оказался не противным, запах вроде бы не шибал в нос, а подтверждал моим чувствам, что я живое создание. За трое суток до возвращения в Париж Наполеон слал депешу Жозефине, чтобы она не мылась. Моюсь ли я перед тем, как заняться любовью? Я стесняюсь спрашивать у Паолы. Да и потом, кто меня разберет, может быть, с нею я возлегаю после ванны, а с другими наоборот… Я вымылся в душе, намылил щеки и побрил их медленно и раздумчиво, обшлепал лицо лосьоном с легким и свежим запахом и причесался. Вроде теперь выгляжу поприличнее. Паола отвела меня в гардеробную: ясно, я любитель вельветовых штанов, жесткошерстных пиджаков, шерстяных галстуков в разных оттенках пастели (мальвовых, гороховых, смарагдовых? я помню прилагательные, но не знаю, куда их прилагать). Еще я понял, что мне нравятся рубашки в клеточку. Там висел и темный костюм для свадеб и похорон.

– Ты красавец, каким и был всегда, – сказала Паола, когда я оделся в брюки и в пиджак.

Она провела меня длинным коридором, обшитым книжными полками. Я смотрел на корешковые надписи, большинство было мне знакомо. То есть мне были знакомы названия, «Обрученные», «Неистовый Орланд», «Над пропастью во ржи». В первый раз за все время мне почувствовалось, что я попал-таки в правильное место. Я вытащил наудачу книжку, но еще до того, как смотреть на переплет, я

ухватил ее правой рукой за задок и левым большим пальцем пробежался по страницам, от последней до первой. Прозвучал чудный шелест. Я проделал это несколько раз и спросил у Паолы, не выскочит ли из книги футболист, не ударит ли по мячу. Паола улыбнулась. Такие книжечки, сказала она, нам с тобой покупали в годы детства, это было кино для бедных, футболист дрыгал ножкой на уголке каждой новой страницы, а если прогонять страницы на большой скорости перед глазами, казалось, он ударяет по мячу и мяч отскакивает. Так я удостоверился, что и эта картинка – общее достояние: следовательно, я не помнил ее, а попросту знал о ней.

Книга была – «Отец Горио» Оноре де Бальзака. Я сказал:

– Папаша Горио жертвует собой ради дочерей, из которых одну, если не ошибаюсь, зовут Дельфина, появляется там и Вотрен под видом Колена, Растиньяк там горит азартом: Париж, ты или я, дуэль! Я что, читаю много книжек?

– Ты читаешь без просыпу. И у тебя замечательная память. Ты знаешь кучу стихов.

– Каких стихов, собственных?

– Чужих. Ты говоришь о себе: я нереализовавшийся гений, мир разделяется на писателей и читателей, писатели пишут из презрения к коллегам, чтоб иметь чего-нибудь почитать.

– Сколько же у меня книг. Извини, у нас.

– Здесь пять тысяч. Когда приходят идиоты, обычно спрашивают: сколько же книг у вас, вы их все прочитали?

– А я что отвечаю?

– Обычно ты отвечаешь: эти я еще не читал, иначе не держал бы у себя, вы же не сохраняете пустые консервные банки, правда? А те пятьдесят тысяч, которые я прочел, я уже передал в больницы и тюрьмы. От этого ответа идиоты падают на месте.

– Много книг на языках… Я, кажется, знаю языки. *Le brouillard indolent de l'automne est épars.* И еще: *Unreal City, Under the brown fog of a winter dawn, A crowd flowed over London Bridge, so many, – I had not thought death had undone so many.* И вдобавок: *Spätherbstnebel, kalte Träume, Überfloren Berg und Tal, Sturm entblättert schon die Bäume, Und sie schaun gespenstig kahl.* Тем не менее: *Pero el doctor no sabía,* - подытожил я, – *que hoy es siempre todavía.*

– Что характерно, из четырех цитат три – о тумане.

– Потому что я в тумане и есть. Но даже и этого тумана я не вижу. Могу только процитировать, как его видят другие: *И эфемерное солнце на повороте, шаром мимоз сквозь белый туман.*

– Ты всегда интересовался туманами. Где бы тебе ни попадалось описание тумана, отчеркивал на полях. Ты говорил, что родился в краю туманов. По-моему, ты все те цитаты ксерокопировал. У тебя на работе, помнится, лежит целая папка туманов. Не волнуйся, будет тебе туманов сколько угодно. Они, правда, в Милане уже не те, потому что в городе слишком много света, освещенных витрин, у нас светло да-

же ночью, туман остался только под самыми стенами домов.

– *Туман своею желтой шерстью трется о стекло, Дым своей желтой мордой тычется в стекло, Вылизывает язычком все закоулки сумерек, Выстаивает у канав, куда из водостоков натекло.*

– Эту цитату и я знаю… Ты сетовал, что туманы уже не те, то ли дело – туманы в твоем детстве.

– То ли дело – всё в моем детстве. Где хранятся мои детские книжки?

– Не здесь. В Соларе, в твоем деревенском имении.

И мне была рассказана вся история деревенского имения, то есть история семьи. Я родился в тамошней деревенской глуши, в рождественские каникулы 1931 года. В точности как младенец Иисус. Родители матери умерли еще до этого. Бабушка по отцу умерла, когда мне было пять лет. Оставался дед по отцу, и мы тоже только одни у него и были. Дедушка был достаточно странная фигура. Он был чем-то вроде букиниста, в смысле – продавал в лавчонке старые книги, но не антикварные, как продаю теперь я, а просто потасканные, бывшие в употреблении, и продавал вместе с книгами другие старые предметы. Он любил путешествия и часто отправлялся за границу. В ту эпоху заграницей был Лугано, самое-самое большее – Париж или Мюнхен. Там он приобретал разное старье на развалах, не только книги, а и афиши, вырезные картинки, открытки и старые журналы. В де-

довы времена коллекционеры-ностальгики еще не развелись в таком, как сегодня, количестве, но кое-какие завсегдатаи в дедову лавку, по словам Паолы, ходили. Он и для себя тоже покупал. Не разбогател, но, кажется, был счастлив и доволен своими игрушками. Вдобавок в двадцатые годы ему досталось в наследство от двоюродного деда имение Солара. Громаднейший домище, ну ты сам увидишь, Ямбо, там одни чердаки размером с Постойнскую пещеру. При доме много земли, земля сдавалась в аренду исполу, и дед имел от этого прожиточный минимум – без лишней головной боли из-за убыточного книжного бизнеса.

Кажется, все без исключения летние сезоны моего детства, так же как и рождественские и пасхальные каникулы, вкупе с другими календарными праздниками, я проводил в Соларе. Прибавим также весь полностью сорок третий, сорок четвертый и часть сорок пятого года, когда мы сидели в Соларе, спасаясь от миланских бомбежек. В Соларе, таким образом, должны, по идее, где-то храниться все книги деда, а также мои игрушки и мои школьные книжки.

– Не знаю в точности где. Ты никогда не пытался их разыскивать. У тебя вообще отношения с тем домом были особые. Дед умер от инфаркта после того, как твои родители погибли в автокатастрофе. Все это в твой последний лицейский год.

– Чем занимались мои родители?

– Отец служил в бюро по импорту товаров из-за рубежа и дослужился до директора. Твоя мать не работала, тогда не

полагалось. Отец мечтал о машине и наконец купил ее, и даже купил не просто машину, а настоящую «ланчу», и кончилось это плохо. Ты никогда не распространялся на эту тему. Они погибли, ты поступил в университет, вы с Адой, с сестрой, остались одни друг у друга.

– У меня есть Ада сестра?

– Младше тебя на два года. Ее приняли в семью брат твоей матери с женой. Ваши опекуны. Но Ада вышла замуж очень рано, в восемнадцать лет, и уехала с мужем в Австралию. Видитесь вы очень редко. Вашу квартиру в городе опекуны продали, продали и почти все имение Солара, то есть землю, нет, не дом, конечно, семейный дом не продавали. Деньги пошли на ваше обучение, ты вообще обрел полную независимость, потому что выиграл университетскую стипендию и поселился в общежитии в Турине. Солару ты как будто вычеркнул из жизни. Это уж я, сильно после, когда у нас родились Карла и Николетта, стала ездить в Солару, детей на все лето на воздух. Чего мне стоило привести в жилое состояние один из тамошних флигелей. Ты избегал там бывать. Девочки обожают Солару, для них это символ их детства, до сих пор они рвутся туда и вывозят своих детей. Ты, конечно, наезжал, потому что дети. Дня на два или на три. Не больше. Интересно, что ты никогда не заходил в мемориальный отсек – так ты называл крыло, где твоя детская и спальни родителей, бабушки и деда. Всю ту часть, вкупе с чердаком. Но и без того в Соларе места столько, что могут жить три

семьи и не повстречаться за весь год ни разу. В Соларе ты совершал моцион, на горку и с горки, и как-то очень быстро обнаруживались важные дела, требующие твоего немедленного возвращения в Милан. Да я все понимала. Смерть родителей разделила твою жизнь на два этапа, все, что до этого, и все, что после этого. Наверное, соларский дом мешал тебе сосредоточиться на втором этапе, давил на тебя, и ты его как будто вытеснял из сознания. Я, безусловно, уважала эти обстоятельства, хотя нередко ревновала и подозревала, что неспроста ты так торопишься в Милан. Ладно, не станем касаться струн…

– А, подкупающая улыбка, заразительный смех… Смехунчик я этакий. Зачем ты выходила за «человека, который смеется»?

– Так подкупал же. Хотелось улыбаться вместе с тобой. Когда я была еще первоклассницей, у меня в школе был один такой Луиджино, и я беспрерывно говорила о нем. Приду из школы и все о Луиджино – чем отличился Луиджино, что нового отколол Луиджино. Мама, конечно, заподозрила, что я в Луиджино втюрилась. И она спросила меня, чем так хорош этот Луиджино. Я ответила – он меня смешит.

В некоторых вещах я напрактиковался очень быстро. Я усваивал, какой вкус у разной еды – давеча в больнице вся еда была совершенно одинакового вкуса, какое бы блюдо ни приносили. Горчица на вареном мясе оказалась аппетитной,

но само мясо содержало в себе волокна, а волокна застревали в зубах. Я обрел (новообрел?) навык обращения с зубочисткой. Поковыряться бы так же в лобных пазухах, прочистить черепушку от засоров… Паола налила мне сначала одно вино, потом другое, и о другом я сказал, что оно несравнимо лучшего качества. Еще бы, отозвалась Паола, первое вино мы используем в кухне для готовки, а второе – это «Брунелло». Ну, тогда еще ничего, ответил я, голова не соображает, ну так хотя бы вкус еще при мне.

После обеда я отправился перещупывать все, что видел, нажимать ладонью на верх бокала с коньяком, наблюдать, как поднимается кофе в кофеварке, пробовать на вкус два сорта меда и три сорта варенья (лучшее – абрикосовое), мусолить тюлевые гардины, выжимать лимоны, совать пальцы в пакеты с крупами. Потом Паола вывела меня на короткую прогулку в парк, я притрагивался к коре деревьев, я старался воспринять

шелест листьев тутовника
в руке садовника.

На площади Каироли был цветочный киоск, Паола сложила целый пук невероятной пестроты, цветочник вытаращился на нас, но дома я рассмотрел, сколько запахов и красок в этой арлекинаде. *И увидел, что это хорошо,* произнес я с удовольствием.

Паола тут же спросила – я что, возомнил себя Господом? Я отвечал, что цитирую просто так, от нечего делать, однако втайне ощущал себя Адамом, осваивающим Эдем. Адаму этому приходилось работать в самом стремительном темпе. Я увидел на полочке средства бытовой химии и сразу понял, что лучше мне не пытаться вкушать от древа познания добра и зла.

После ужина я расположился отдохнуть. В кресле-качалке. – Твое обычное место, – откомментировала Паола, – для принятия вечернего виски. Гратароло, думаю, не убьет нас за это.

И она принесла виски марки *Laphroaig,* и я щедро плеснул себе в стакан, льда не надо. Жидкость шаром покаталась во рту, прежде чем уйти в глотку.

– Изумительно, хотя чистая нефть.

Паола пришла в восторг:

– Знаешь, после окончания войны, где-то в пятидесятые годы, у нас начали пить виски. До того не пили. Хотя, с другой стороны, может быть, фашистские руководители пили, откуда я знаю. В Риччоне, может, и пили, а в нормальных местах – нет. Для нас в молодом возрасте это было слишком дорого, но лет с двадцати мы потихоньку начали: что-то наподобие инициации. Родители смотрели с ужасом и задавали один и тот же вопрос: как можно это проглатывать, это же на вкус чистая нефть?

– Пьешь-пьешь, хоть тресни, никакого Комбре.

– Зависит, что пить. Пей себе спокойно, будет тебе и Комбре, и все остальное.

На столике пачка «Житан» в кукурузных гильзах, *papier maïs.* Я зажег сигарету, жадно затянулся, перехватило горло. Я покашлял и загасил сигарету.

От медленного качанья люльки я задремал. Когда же вдруг ударили часы, я встрепенулся и чуть не опрокинул стакан с виски. Часы стояли у меня за спиной, и я не сразу понял, от чего такие звуки. Ударов раздалось девять, поэтому я сказал:

– Пробило девять. – Потом обратился к Паоле: – Знаешь, что сейчас тут со мной случилось? Я уснул и пробудился от боя. Во время первых ударов я дремал, а следовательно, не пересчитывал их. Но как я взялся считать, то оказалось, что мне известно: прежде прозвучало три, и соответственно я просчитал четыре, пять и далее. Я понял, что могу сказать – четыре, а также ожидаю пятого, исходя из первой данности, что имели место один, и два, и три, и почему-то мне это было ведомо. Будь четвертый удар часов самым первым из мною осознанных, я бы решил – пробило шесть. Так вот, вся наша жизнь, полагаю, устраивается по этой логике. Только если у тебя в памяти прошлое, можешь прогнозировать будущее. А мне не удается точно знать, сколько ударов уже заложено в моей памяти…

Добавлю еще соображение. Я уснул, раскачиваясь в кресле. И не сразу, а после скольких-то качаний. В этом деле то-

же на будущее – воздействовало прошлое. Я ждал все новых качаний, поскольку помнил предыдущие. Именно те-то меня и убаюкали. А в начале покачиваний я не ожидал повторения, поэтому в начале и не погружался в дрему. Значит, даже чтоб уснуть, необходимо помнить. Правильно ведь?

– Эффект лавины. Скатываясь, лавина ускоряется, потому что налипает новый снег и возрастает масса кома.

– Вчера в больнице мне было скучно, я пробовал что-то петь, мелодия получалась сама собою, механически, как чистка зубов. Я попытался осознать, откуда же я ее знаю. Я начал эту мелодию сначала, и что же? На второй раз она перестала получаться, и на пятой ноте я застопорился. Потянул, потянул, завыл как автомобильная сирена – и в результате не имел никакого понятия, куда мне надлежит двигаться. Разумеется, не имею понятия, поскольку потерял точку отсчета! Я пластинка, которую заело. Не могу вспомнить начало и, естественно, не способен вспомнить конец. Пока я пел и не задумывался, я сам был песней, существовал в глубине памяти, в данном случае – в звуковой, в памяти гортани. В этой памяти «прежде» и «потом» взаимосвязаны. Я представлял собой законченную песню, на каждом звуке голосовые связки сами собой устанавливались так, чтобы переходить к последующему звуку. Думаю, что так играют пианисты: нажимая клавишу, самопроизвольно прицеливают пальцы на следующую. Без первой ноты нельзя добраться до последней, можно только фальшивить. Мелодию нужно

помнить целиком. А я мелодию не помню. Я будто… будто полено в камине. Полено не помнит, что оно было живым стволом. Оттого и подвержено горению. И я отгораю так же.

– Давай-ка поменьше философствовать, – пробормотала Паола.

– Давай-ка побольше философствовать. Где у меня стоит «Исповедь» Августина?

– На тех вон полках, где библия, Коран, Лао-цзы и книги по философии.

Я пошел нашаривать «Исповедь» и сразу раскрыл указатель – искал страницы о памяти. Страницы имели вид освоенный, со вписками и подчеркиваниями. Так я пришел к равнинам и обширным дворцам памяти и, попав туда, стал вызывать бесчисленные желаемые образы, которые были свезены туда, одни являлись по первому требованию, других приходилось доискиваться, как будто высвобождая из дальних скрытых отделений. В пещере памяти, в ее неозираемых глубинах, в дворцовых залах у меня есть и небо, и земля, и море, все вместе, и у меня есть даже я сам… Велика она, эта сила памяти, боже правый, и бесконечная глубокая сложность ее почти что навевает ужас, и в этом дух, в этом я сам. В полях и в неисчислимых закоулках памяти, неисчислимо заселенных неисчислимыми подвидами вещей, во всех пробегаемых мною пространствах я взлетаю, я лечу, и моему полету нет пределов.

– Знаешь ли, Паола, – сказал я, – вот ты мне рассказала о

дедушке, о сельском доме, все вы желаете нашпиговать меня разными сведениями, но даже если получать информацию в таком темпе, все равно, чтобы заполнить в моей памяти все пещеры, понадобится еще шестьдесят лет, примерно столько, сколько я прожил до сих пор. По-моему, неудачная программа. Нужно мне отправляться в пещеру самому. За Томом Сойером.

Бог знает что уж там отвечала Паола, в конце концов я докачался в своем кресле до того, что опять заснул.

Спал я недолго, кто-то позвонил в дверь: Джанни Лаивелли. Тот самый однокашник, с которым мы были не разлей вода. Он облапил меня совсем по-братски, он волновался, его уже сориентировали, как управляться со мной. Ни о чем не беспокойся, заверил он, я-то помню твою жизнь не хуже тебя. В момент могу проинформировать о чем твоей душеньке угодно. Я сказал ему: спасибо, не стоит – тем временем Паола закладывала в меня основные данные о наших с Джанни отношениях. С первого класса школы до последнего – за одной партой. Потом я поступил в Туринский университет, а Джанни на экономический в Милане. Но мы продолжали общаться и дружить. Ныне я продаю ценные книги, а он пишет для своих клиентов счета, на основании которых люди платят налоги – или не платят налогов. У каждого своя стезя, а между тем мы как родные, его внучата дружат с моими, и Рождество и Новый год мы встречаем, как правило, вместе.

Я попытался его унять – но Джанни не умолкал. И по-

скольку он все на свете помнил, он, похоже, не мог поверить, что для меня это пустые слова. Ну как же, захлебывался Джанни, помнишь – мы принесли крысу в класс, чтобы напугать математичку, а когда мы ездили всей школой в Асти, смотреть пьесу Альфьери, и потом вернулись, то нам сказали, что в самолете разбилась команда Турина, и еще в тот раз, когда…

– Ничего я этого не помню, Джанни, но ты так чудно рассказываешь, что я вроде как вспоминаю. Кто из нас учился лучше?

– По философии и итальянскому был сильнее ты, по математике я, и каждый пошел по своей линии.

– А кстати, Паола, какая у меня была тема диплома?

– Ты защищался на филфаке по произведению *Hypnerotomachia Poliphili.* Совершенно нечитабельное произведение. По моему мнению. Потом ты писал диссертацию в Германии по истории антикварных книг. С именем и фамилией, которыми тебя наградили предки, альтернатив практически не было, да и дедушкин славный пример чего-то стоил, он же просидел всю свою жизнь среди кучи старых грязных журналов… После Германии ты сразу открыл библиографический консультационный центр, поначалу размером в одну комнату, на деньги, оставшиеся от наследства. Впоследствии твое дело оказалось вполне рентабельным.

– Ты знаешь, цена твоих книг, некоторых, выше цены «феррари», – перебил Джанни. – Жутко красивые, берешь

такую в руки и знаешь, что ей пятьсот лет, а листы еще хрустят, будто новенькие, будто вчера были отпечатаны.

– Ну-ну-ну, – перебила его Паола, – о работе не велено говорить. Сначала он должен обжиться дома. Налить тебе нефтяного виски?

– Как нефтяного?

– А, это у нас такое слово с Ямбо. Понемногу заводим семейные секреты.

Когда я провожал Джанни на площадку лестницы, он приобнял меня и шепнул:

– Что же ты, до сих пор не виделся с прекрасной Сибиллой?

С какой такой прекрасной Сибиллой?

Вчера приходили Карла и Николетта с мужьями, в полном составе. Неплохие мужья. Я после обеда играл с детьми. Славные. Начинаю привыкать. Однако странно. Я вдруг поймал себя на том, что хватаю их, трясу, целую, обнимаю, вынюхиваюсь в их чистоту, молоко и запах присыпки, а ведь это совершенно незнакомые дети. Может, я педофил ко всему прочему? Я решил держаться от них подальше. Мы играли, они потребовали изобразить медведя. Черт, как должен выглядеть нормальный пожилой медведь? Я решил рычать на четвереньках. Они все на меня налезли. Эй, потише, мне не пятнадцать лет, спина. Лука расстрелял меня из водяного пистолета, и я почел за благо сдохнуть кверху брюхом.

Рисковал радикулитом, но сорвал аплодисмент. Видно, я не столь уж свеж. Стал вставать, закружилась голова. Да ты что, заволновалась Николетта, что, не знаешь, у тебя же ортостатическое давление. И тут же поправилась: ты, конечно, временно мог не знать, но теперь ты опять знаешь. Вот как пишется новая страница моей жизни. Вот кем пишется моя жизнь, новая страница.

Продолжаю держаться за энциклопедии. Так идут по стеночке, придерживаясь. Оборачиваться резонов нет. Глубина личных воспоминаний – не больше недели. Глубина чужих воспоминаний – века. Глотнул орехового ликеру. Сказал: *Специфический привкус, горький миндаль.* В парке два верховых полицейских: *Лишь бы мне поставить ногу в стремя! Живо распрощаюсь с вами всеми: На коня – и поминай как звали! Чтоб за шапку – звезды задевали!*

Я оцарапался о косяк и, зализывая ранку, проскандировал: *Ручьем святая кровь течет в омытие грехов.*

С неба полилось, я откомментировал: *Шел летний дождь, и по дороге Я шел с зонтом…*

Укладываясь в кровать ранним вечером, я декламировал: *Давно уже я привык укладываться рано.*

На регулируемых переходах у меня вопросов не бывает, однако вчера – я двинулся через узкую улицу, где не было перехода, в довольно спокойном месте – Паола ухватила меня за руку и удержала, по улице летела машина.

– Да машина вон как далеко, – отбрыкивался я. – Я успе-

ваю перейти.

– Ничего ты не успеваешь, смотри, как быстро она едет.

– Ну ладно, ты уж меня невесть за кого держишь. Я тоже знаю, что перед самым капотом могут оказаться пешеходы или курицы, и тогда приходится тормозить, а потом выходить из автомобиля и запускать мотор ручкой. Двое высоких, в плащах, в черных очках, я между ними, и почему-то у меня длиннющие уши, интересно, откуда это видение.

Паола уставилась на меня:

– А с какой скоростью, по-твоему, ездят машины?

– Ну, не знаю, даже и до восьмидесяти километров в час…

Обнаружилось, что машины научились ездить быстрее.

Мои данные оставались на уровне той эпохи, когда я сдавал на права.

Удивительно и то, что на площади Каироли то и дело подходят негры и пытаются продать зажигалку. Мы с Паолой катались на велосипедах по парку (велосипедом я управляю, как будто век с ним не расставался), и я был поражен, увидев толпу негров, бивших в бубны возле пруда.

– Что это, Нью-Йорк? С которых пор в Милане такая уйма негров?

– Да с некоторых пор, – сказала Паола. – И надо говорить не «негров», а «чернокожих».

– Какая разница, как говорить. Пристают со своими зажигалками, бьют в парке в свои бубны, потому что на другие забавы у них денег нет, в общем, эти чернокожие, извини,

по-моему, типичные бедные негры.

– Ну, в общем, их не положено обзывать неграми. Ты раньше никогда не обзывал.

Паола подметила, что по-английски я говорю с ошибками, а по-немецки и по-французски без ошибок.

– Это естественно, – сказала она, – французский впитался в тебя, когда ты был мальчиком, твой рот приспособился к нему, как ноги приспособились к велосипеду, немецкий ты учил по учебникам в университете, учебники у тебя застряли в голове – не выбьешь, а вот английскому ты научился позже, в поездках, английский – часть твоего личного опыта последнего тридцатилетия, поэтому он и вспоминается тебе теперь только частично.

Я пока что слабоват, заниматься чем-то способен не более получаса, самое большее час, а потом меня тянет прилечь. Паола организовала каждодневные походы в аптеку – измерять давление. И еще мне прописали диету: поменьше соли.

Я усаживаюсь перед телевизором. Это меня меньше всего утомляет. Неизвестные мне господа оказываются премьер-министром и министром иностранных дел. Вот испанский король – а куда они Франко? Перековавшиеся террористы (неведомое мне сочетание слов), покончившие с неприглядным прошлым, о чем они толкуют – мне понять трудно, что-то про Альдо Моро, который мне известен, – он борец за параллельные конвергенции, но что я слышу, оказывается –

его убили? За эти конвергенции, что ли? Самолет свалился в Устике на Сельскохозяйственный банк? У певцов сережки в ушах, хотя они по виду – мужчины. Мне нравятся сериалы о семейных дрязгах из жизни техасцев. Я с радостью смотрю Джона Уэйна. От новых фильмов я пугаюсь, в первом же из них изрешетили целую семью из здоровенного автомата, перевернули и взорвали автомобиль, какие-то амбалы в майках с хрустом всаживали друг другу кулаки в пах и в челюсть, выбивали стекла и выпрыгивали в волны – все это за пять секунд. Чересчур суетливо для меня и невыносимо шумно.

Мы пошли с Паолой в ресторан.

– Не волнуйся, пожалуйста, они тебя знают, скажи: «Как всегда».

Те оказали мне горячий прием.

– Профессор Бодони, какая радость снова видеть вас, чем порадуем после возвращения?

– Как всегда.

– О, значит, самый первоклассный выбор, – пропел ресторанщик. – Спагетти с мидиями, печеная рыба, «Совиньон» и на десерт яблочный торт.

Паола мне воспретила просить вторую порцию рыбы.

– Почему же? Ведь это ужасно вкусно, – заныл я. – Не так уж дорого, мы разве разоримся?

Паола уселась удобней и произнесла речь:

– Понимаешь, Ямбо, ты сохранил все автоматические навыки и держишь нож и вилку, как полагается держать. Но

кое в каких аспектах важнее автоматизмов накапливаемый с годами личный опыт. Ребенок не способен остановиться и объедается до расстройства желудка. Мать объясняет ему, что следует удерживаться, – в точности как с высаживаньем на горшок. Поэтому ребенок, который иначе по первому позыву марался бы где попало и ел бы «Нутеллу» банками, научается понимать предел, за которым он обязан остановиться. Взрослые останавливаются, к примеру, после второго или третьего бокала вина – они помнят случаи, когда от целой бутылки вина им бывало плоховато. Тебе, Ямбо, предстоит выстроить корректные отношения с едой. Ничего, этому учатся быстро. Добавки тебе не надо.

– Ну а к десерту, разумеется, кальвадос, – щебетал любезный ресторатор, неся ломоть торта.

Получив кивок от Паолы, я сказал:

– *Calva sans dire.*

Эта шутка явно звучала здесь не впервые, потому что ресторатор подпел те же слова:

– *Calva sans dire.*

Паола спросила, какие чувства пробудил у меня этот кальвадос, я отвечал – мне нравится, но добавить нечего.

– А между тем ты в свое время опился им в Нормандии… Ладно. «Как всегда» – это палочка-выручалочка. В Милане масса мест, где ты можешь просто заказывать свое обычное. Без проблем выбора. Что может быть в твоем положении удобнее!

– Со светофорами у тебя хорошие отношения, – говорит Паола, – и ты уже, надеюсь, усвоил, что машины носятся как бешеные. Погуляй-ка сам. Вокруг замка, по площади Каироли, там на углу кафе-мороженое, ты у них главный клиент, они бы, думаю, давно закрылись, если бы не было тебя. Скажешь этим мороженщикам «как обычно».

Мне даже и не пришлось говорить «как обычно», мороженщик мигом напихал в рожок страччателлу, вот ваше обычное, профессор. А правильно я делал, любя эту страччателлу… Забавно открывать для себя страччателлу в шестьдесят лет. Что был за анекдот, который рассказал Джанни, насчет Альцгеймера? *А самое приятное – каждый день множество новых знакомств.*

Кстати о новых знакомствах. Не успел я покончить с мороженым и закинуть в ближнюю урну вафельный хвост… И вдобавок интересно, почему я его выбросил? На этот вопрос мне ответила Паола впоследствии, оказывается, я жил с застарелой манией – моя мама приучила меня с младенчества выкидывать низок конуса за то, что его коснулись нечистые руки мороженщика… Не успел я закинуть в урну конус, как из-за угла вышла элегантная дама. Приблизительно сорок лет, взгляд с подоплекой, вроде Леонардовой дамы с горностаем. Она сразу заулыбалась, а я излучил свою лучшую улыбку – из тех, из подкупающих.

Дама кинулась мне на шею:

– Какая радость, Ямбо!

Но, видимо, мои глаза, невзирая на улыбку, ее не убедили.

– Ямбо, ты не узнаешь меня, неужели я так постарела? Ванесса! Ну я же Ванесса!

– Ванесса, ты не изменилась, стала лучше! А я прямо от глазника. Он мне закапал атропин, и все расплывается. Как ты живешь, горностаевая прелестница?

Про горностаевую она, видно, слышала от меня не раз, потому что едва не заплакала.

– Ямбо, Ямбо. – И погладила меня по щеке. – Ямбо, почему мы никогда не видимся? Мне так радостно встречаться с тобой. То, что было… было так мимолетно. По моей вине, вероятно. Но, конечно, это было… замечательно.

– О, незабываемо, – отвечал я с чувством в голосе и настолько отрешенно, будто память моя плыла в струях вечных наслаждений. По актерскому мастерству – высший балл. Она поцеловала меня в щеку, шепнула, что телефон у нее не изменился, и мы расстались. От меня уходила Ванесса. Явно из тех самых соблазнов, перед которыми я не устаивал. «Что за подлецы мужчины». Кинокомедия с Витторио Де Сика. Ну и какой смысл крутить романы, если потом никакой возможности нет не говорю уж похвастаться своими победами перед приятелями, но даже и просто возвращаться мыслью к былой интрижке время от времени, грозовыми ночами, зимой, беспокойно ворочаясь под одеялом?

Под одеялом, с самой первой ночи, Паола усыпляла меня поглаживаньем по голове. Мне была приятна ее близость.

Было ли это желанием? Преодолев стыдливость, я все же задал вопрос – занимаемся ли мы еще любовью? Паола ответила:

– Время от времени. Большею частью по привычке. А что, тебе хочется?

– Я ведь не знаю, что значит «хочется». Я все раздумываю, пытаюсь понять…

– Ты ничего не пытайся, ты спи. Ты ведь еще не в лучшей форме. Да и я против того, чтобы ты соблазнял незнакомую женщину.

– Приключение в спальном вагоне.

– Как в романе Декобра.

Глава 3
Кому случится, кому сулится твоя невинность

Я научился разгуливать один, и знаю, как здороваться с неведомыми знакомыми: соразмерять свою улыбку с их улыбкой, воспроизводить (наблюдая за ними) жесты удивления, радости или вежливости. Я тренировался на соседях по дому, спускаясь в лифте. Чем доказывается, что социальное бытование – чистая фикция, оповестил я дочь Карлу, которая порадовалась за меня. Она сказала: а вообще-то это цинизм. Конечно, цинизм, ответствовал я, если не думать, что все на свете комедия, захочется повеситься.

В общем, объявила моя жена Паола, пора и на службу. Ступай-ка. Один. Тобою там займется Сибилла, и посмотрим, как скажется на тебе вторичное попадание в первичную среду… Тут мне пришел на ум шепот старого друга Джанни о прекрасной Сибилле.

– Кто это Сибилла?

– Твоя ассистентка, помощница, она великолепно управлялась с конторой все время твоего отсутствия, сегодня мы с ней говорили по телефону, она там вне себя от гордости, устроила какую-то феноменальную сделку. Сибилла, фамилию не спрашивай, запомнить ее не имеется возможности.

Польская такая фамилия. Писала диссертацию в Варшаве по экономике книжного дела. Как только советская власть там у них накренилась, еще до падения Берлинской стены, Сибилла получила первый загранпаспорт и сразу двинулась в Рим. Хороша собой, и даже слишком, и, видимо, нашла дорогу к сердцу кого-то из крупных польских боссов. В общем, ее выпустили, обратно в Польшу она не вернулась и стала искать здесь себе работу. Тут ей подвернулся ты, или она подвернулась тебе, и вот уже четыре года как она у тебя в конторе. Она знает все – и что с тобою приключилось, и как с тобою обращаться.

Паола написала мне адрес и телефонный номер моего офиса. После площади Каироли идти вперед по улице Данте и перед портиком Старого рынка – там будет портик, не ошибешься – свернуть на левой стороне в проулок, и ты на месте.

– Если случится какая-то непредвиденность, заходи в ближайший открытый бар и звони Сибилле или звони мне, мы вышлем за тобой спасателей с собаками. Хотя, надеюсь, обойдется без этого. Ах да, имей в виду, что вы с Сибиллой говорите между собой по-французски, так повелось с самого начала, когда она итальянского не знала, да так и осталось между вами. У вас с Сибиллой такие игры.

Сколько народу на улице Данте, как приятно идти между незнакомцами без всякой обязанности узнавать их в ли-

цо. Тебя охватывает ощущение спокойствия. Ты понимаешь, что и они на семьдесят процентов в твоем положении. В сущности, я ведь могу быть приезжим, пока что немного одиноким, но одиночество поправимо. Точно, я ведь и есть приезжий. На эту планету. Кто-то махнул мне от двери бара, с порога магазина. Без всяких покушений на узнавания и разговоры. Я тоже помахал в ответ – и таким образом несколько раз чудной силой спасся!

Я нашел улицу и табличку антикварни, как находят тайник в бойскаутских играх. Скромная, симпатичная табличка невысоко на двери, *Studio Biblio,* видимо, фантазия у меня не то чтобы очень, хотя, с другой стороны, как прикажете называть – *Alla Bella Napoli?* Я позвонил, двери клацнули, я поднялся, площадка второго этажа, распахнутая дверь и Сибилла в проеме.

– *Bonjour monsieur Yambo… pardon, monsieur Bodoni.*

Как будто память потеряла она, а не я. Действительно прекрасна. Прямые светлые длинные волосы, «чистый овал». Никакой раскраски. Хотя нет, есть немножко голубизны на глазах. Каким это можно охарактеризовать прилагательным? Нежнейшая? Стереотип, естественно, однако одни стереотипы мне и служили подорожной в общество людей. Джинсы, кофтенка с какой-то надписью вроде *Smile,* целомудренно облегающая подростковую грудь.

Мы оба были страшно смущены.

– *Mademoiselle Sibilla?* – спросил я.

– *Oui,* – ответила она. И повторила быстрее, еще быстрее: – *Ohui, houi. Entrez.*

Какой-то всхлипывающий звук. Первое *oui* она выговаривала нормально, второе – уже с придыханием, как будто ей перехватывало горло, а третье – на слабом выдохе и с интонацией неуловимого вопроса. Все это наводило на мысль о почти детском замешательстве и в то же время о вызывающей робости. Знаю, что это оксюморон, но хочется сформулировать именно так. Сибилла посторонилась. Пахло от нее прельстительно и интеллигентно.

Если б от меня требовали описать, как должен выглядеть консультационный библиографический центр, я изобразил бы нечто почти неотличимое от того реального помещения, куда попал. Темные стеллажи, на полках старые издания, точно такие же старые книги на толстом квадратном столе. В углу стоял стол поизящнее с монитором и процессором. Старые раскрашенные карты с обеих сторон окна. Стекла в окне были матовые. Свет рассеянный – в комнате несколько продолговатых зеленых ламп. И открытая дверь в подсобку, там, мне показалось, брезжил в темноте упаковочный верстак для подготовки книг к почтовой пересылке.

– Значит, вы Сибилла? Или я должен говорить – мадемуазель как-то? По моим сведениям, фамилия непроизносимая.

– Сибилла Яснржевска, здесь, в Италии, действительно приходится мучиться. Но вы обычно говорили мне просто Сибилла.

Ее улыбку я увидел в первый раз. Я сказал, что хотел бы войти в курс дела, посмотреть на самые ценные книги. Это у самой дальней стены, сказала она – и повела меня к полкам. Бесшумная походка, спортивные башмачки. А может, шаги заглушаются настилом? *Ты укрываешься, отроковица, священной дымкой, Нет сокровенней, благословенней плоти укромной,* чуть было не забормотал я. Вместо этого промычал: – Винченцо Кардарелли.

– Что? – переспросила она, тряхнув волосами.

– Ничего, – отвечал я. – Давайте посмотрим книги.

Превосходные конволюты старой закалки. У некоторых корешки слепые, без названий. Я вытащил наудачу какой-то том. Распахнул – где фронтиспис с названием? – не обнаружил. (Следовательно, инкунабула. Переплет оригинальный шестнадцатого века из чепрака свиноматки с холодным тиснением.) Я поводил ладонями по крышкам. Тактильная услада. (Незначительное кругление рантов.) Я пощупал бумагу, проверяя, хрустит ли, сообразно рассказу Джанни. Бумага хрустела. (Текстовой блок воздушен и свеж. Легкие маргинальные потеки на последней тетради, текст не тронут. Экземпляр высококлассный.) Я обратился к колофону и выговорил по слогам:

– *Venetiis mense Septembri…*

Венеция, сентябрь тысяча четыреста девяносто седьмого. Да ведь это, не исключается…

На первом листе значилось: *Iamblichus de mysteriis*

Aegyptiorum.

– Это первое издание Фичинова перевода Ямвлиха, так ведь?

– Совершенно верно… *monsieur Bodoni.* Вы узнали издание?

– Абсолютно ничего я не узнал, я все буду выучивать наново, Сибилла. Просто я теоретически знаю, что первый Ямвлих в переводе Фичино был датирован тысяча четыреста девяносто седьмым годом.

– Прошу прощения, я еще к этому не привыкла. Вы были в таком восторге, когда к нам пришла эта книга. Действительно, замечательный экземпляр. Вы решили не продавать его, раз уж это такая редкость, и дожидаться, пока аналогичный не засветится или на аукционе, или в американских каталогах, тем самым поднимется планка цен, и тут мы вставим наш замечательный экземпляр в каталог.

– Так у меня есть и бизнес-жилка!

– Полагаю, что главным образом не хотелось расставаться с этой прелестью. Ну хоть пару месяцев. Но поскольку с Ортелиусом, наоборот, вы решили наконец распроститься, то могу вас обрадовать.

– С Ортелиусом? То есть…

– Издание 1606 года, сто шестьдесят шесть раскрашенных листов и указатель. В переплете семнадцатого века. Вы были счастливы, завладев этим экземпляром почти за бесценок, – он был в составе купленной на корню библиотеки покойно-

го командора Гамби. И вы решили поставить его в каталог. Наконец-то. И в те недели, как вы… ну когда вам тут нездоровилось… я сумела продать этот лот одному клиенту, совершенно новому, он, я думаю, не библиофил, он из тех, кто покупает просто для вложения денег.

– Что продался экземпляр – отлично, а что в такие глупые руки – жалко… За сколько?

Она как будто боялась называть цифру, взяла в руки картонку и просто мне показала.

– Причем у нас сказано в каталоге «цена по договоренности», мы собирались торговаться. Я ему назвала верхний уровень, он даже не заикнулся о скидке, выписал чек и был таков. С колес, как говорят в подобных случаях.

– Ничего себе цифры теперь у нас. – Я действительно не догадывался о столь цветущем состоянии рынка. – Что тут сказать, Сибилла, чистая работа. А нам во сколько книга обошлась?

– Да в общем-то, можно сказать, в нисколько. Продавая прочие трофеи библиотеки командора, мы понемногу возвращаем все вложенные деньги. Оплата уже на нашем банковском счету. Поскольку в каталоге цена не была проставлена, полагаю, что после некоторых корректировок господина Лаивелли мы в результате сможем действительно быть более чем довольны.

– Я что, из тех, кто уклоняется от налогов?

– Нисколько, *monsieur Bodoni,* вы поступаете точно так же,

как все, обычно выплачивается требуемое, но когда конъюнктура особо благоприятная, имеет смысл, так сказать, чуть помочь самому себе. Вы образцовый налогоплательщик на девяносто пять процентов.

– После этого нового казуса превращусь в образцового на пятьдесят. А я помню, меня учили, что налоги следует выплачивать в полном объеме.

Это прозвучало как-то унизительно для нее. Я отечески умягчил тон:

– Но вы не думайте об этих вещах, я сам переговорю с Лаивелли. – Вот как, отечески? И я завершил свою речь даже несколько раздраженно: – А теперь позвольте мне сосредоточиться на книгах.

Она ушла и села за компьютер, не отвечая ни слова.

Я листал книги: «Божественная комедия» типографии Бернардино Бенали, отпечатанная в 1491 году, «Физиогномика» Скотта 1477 года, «Четверокнижие» Птолемея 1484 года, календарь Региомонтана (1482). Но и с последующими веками был большой порядок, вот замечательное первое издание «Нового театра машин и зданий» Витторио Зонка и совершенно обворожительная «Механика» Рамелли… Я знал все эти книги по описаниям, любой приличный букинист знает наизусть основные каталоги. Но я не ведал, что владею этими сокровищами.

О-о, вот как? О, по-отечески? Снимая с полки книги, ставя их на место, я думал о Сибилле. Друг Джанни на что-

то намекал, на что-то игривое. Паола откладывала тему Сибиллы до последней возможности. А наконец коснувшись этой темы, говорила как-то многозначительно, хотя и спокойным голосом: Сибилла-де хороша собой, и даже слишком… у вас двоих с Сибиллой-де такие игры… Как будто ничего не сказано, но четко прочитывается подтекст: речь идет о каком-то, что называется, тихом омуте.

Возможно ли, что у меня и Сибиллы роман? Только из отрочества… В Италию из Восточной Европы… Ей нужно все, ей интересно все. И вот она встречает человека… Коллегу, старше и опытней ее… кстати, когда она приехала, мне все же было на четыре года меньше… коллега этот умеет объяснить ей многое. Она всему обучается. И впитывает каждое слово. И восхищается. В ней он находит идеальную ученицу, обворожительную, умную, с этим полузадыхательным *oui oui oui,* они работают вместе, они всегда вместе, каждый день, вдвоем в кабинете-библиотеке, они союзники в малых и больших сражениях, у них совместные победы, однажды они наталкиваются друг на друга в дверном проеме. И завертелось… Нет, что ты, в моем возрасте, девочка, сумасшествие, найди себе мальчика, не думай обо мне, забудь все. А она: да что ты говоришь, я не знала, что бывают на свете такие чувства, Ямбо. Выходит пересказ банальной мелодрамы? Отлично, мелодрама. О, Ямбо, это, конечно, любовь, это такая любовь, что… но я не могу смотреть в глаза твоей жене. Она замечательная. И у тебя две дочери. И у тебя вну-

ки… Мерси за напоминание, что от меня воняет падалью. Не говори так, Ямбо, ты самый… самый мужской мужчина из всех, какие есть на свете. Мальчишки моего возраста – даже сравнивать их смешно с тобою… И все-таки я должна устраниться. Постой, мы же можем оставаться просто друзьями. Прошу. Будем видеться каждый день. Боже мой, как же ты можешь не понимать – именно каждый день если будем видеться, то друзьями мы не останемся никак… Сибилла, не говори так, постой, надо лучше обдумать положение. В конце концов Сибилла не выходит на работу, я звоню, что собрался кончать с собой, она уговаривает меня не вести себя по-детски, и *tout passe,* и в конце концов сама приходит и остается, поскольку у нее не хватило сил это выдержать… Так тянется все четыре года, до настоящего дня… А может быть, в настоящий день – уже и не тянется?

Я помню, разумеется, все шаблоны, но, опасаюсь, не сумею смонтировать их верным способом. Может, подобные сюжеты достойны, и грандиозны, и истинны, именно поскольку в них, в сюжеты, заложены донельзя банальные шаблоны, сцепленные – не расцепишь? И ты тоже закладываешься в подобный шаблон изнутри, и все становится как будто бы первозданно, свежо, и после этого не стыдишься банальности?

Верна ли моя реконструкция? У меня, казалось, не было никаких желаний. Но как только я увидел ее, я мигом понял, что такое желание. И ведь я видел ее столь недолго. Ну а если

видеть регулярно? Постоянно? Она будет постоянно скользить рядом, шествуя как по водам? Я, конечно, просто фантазирую, куда мне, с моей болезнью, в моем состоянии… Да и перед Паолой… Это надо быть последней сволочью. Нет, Сибилла для меня как Святая Дева. Ни единым помыслом. Замечательно. Ни единым. Ну а сама Сибилла – что?

А она, если все правда, в самом запале, в волнении, может, она-то уже готовилась встретить меня на «ты» и по имени, слава богу – французский язык допускает обращение «вы» даже между любовниками, она-то, может, хотела броситься мне на шею, намучилась как за эти недели! И тут я являюсь, явился не запылился, как поживаете, *mademoiselle Sibilla,* теперь предпочту сосредоточиться на книгах, спасибо, вы очень любезны. Она, естественно, никогда не сможет рассказать мне правду. Ну и прекрасно. Так спокойней для всех. Пусть теперь найдет себе молодого человека.

Ну а я? А что я. У меня не все дома. Это даже написано в истории болезни. С чего я зациклился на неправдоподобной сказке? Такая красотка в секретарях, конечно, Паола разыгрывает обеспокоенную жену, это в порядке вещей между супругами-союзниками. Теперь насчет Джанни. Джанни назвал Сибиллу «прекрасной». Ну ясно. Это он-то сам и потерял из-за девчонки голову! Таскается к нам что ни день, пишет налоговые бумажки, щупает хрусткие страницы, а сам изнывает и тает от ее вида. Вот этот-то Джанни и есть герой-любовник, а я вообще сбоку припеку. Хотя, между про-

чим, мы в одном возрасте, что означает – Джанни воняет падалью ровно как я. Тогда с какой же стати этот Джанни уводит, и даже уже увел, мою любимую девушку? Как? Я опять за то же самое? Любимую девушку?

Я-то страшился – как приживаться среди знакомых незнакомцев. И не ведал, где меня подстерегает самая опасная трудность… Почему-то ко мне в ребро должен был толкнуться этот бес… Больно мне, плохо мне, а может кончиться плохо и для нее. О, ты волнуешься за нее? Волнуюсь, потому что кому же хочется причинять боль приемной дочери! Дочери? Прежде сокрушался, что ты педофил, а теперь ты еще и кровосмеситель?

И в конце концов, господи, откуда известно, что мы прямо-таки любовники? Ну может быть, одно объятие, может, один поцелуй, всего один раз, платонический, холодный, каждому известно, что в душе другого целая буря, но никто не решается пересечь воображаемые пределы. Подобно Тристану и Изольде, мы кладем в постель заточенный меч.

Э, да у меня тут «Корабль дураков», хотя, мнится мне, и издание не первое, и экземпляр не идеальный. Скажи пожалуйста, вроде я вижу «О свойствах вещей» Варфоломея Глэнвильского. Цветные рисованные буквицы насквозь через весь текст, очень жалко, что крышка – новодел под старину. Поговорю с ней о работе.

– Сибилла, *Stultifera navis* у нас не первое издание, правда?

– К сожалению, нет, *monsieur Bodoni,* у нас издание *Olpe*

тысяча четыреста девяносто седьмого. А первое издание – это тоже *Olpe*. Базель, но 1494, и по-немецки, *Das Narren Schyff*. Первое издание на латинском языке, такое же, как наше, вышло в девяносто седьмом, но в марте, а наше, посмотрите там на колофоне, напечатано в августе, выходило еще одно в апреле и одно в июне. Однако дело не столько в дате, сколько в экземпляре. Вы же видите, что в нашем, увы, очень много недостатков. Конечно, не то чтобы бросовый экземпляр, но радоваться особо нечему.

– Сколько вы знаете всего, Сибилла, и что бы я без вас делал.

– Это вы меня всему научили. Чтобы выехать из Варшавы, я себя преподносила как *grande savante,* но если бы мы с вами не встретились, я оставалась бы столь же неученой, какой приехала.

Абсолютный пиетет. Что утаено в ее словах? *Grande savante.* Всезнающий мудрец в дни строгого труда. Пробормотываю:

– *Les amoureux fervents et les savants austères… Чета любовников в часы живой беседы…*

Ее недоумение.

– Ничего, это просто стихотворная цитата. Сибилла, нужно кое-что обсудить. Может статься, я кажусь вам почти нормальным, но это иллюзия. Все, что со мной происходило в прежней жизни, все, понимаете, без исключения, вытерто из моей памяти – будто текст мокрой тряпкой вытерли с дос-

ки. Непорочная чернота. Пардон за оксюморонность. Прошу вас понимать все это, ничему не удивляться и… поддержать меня.

Правильно ли я составил текст? По-моему, замечательно. Он поддается двойному прочтению.

– Не беспокойтесь, *monsieur Bodoni,* я понимаю. Я с вами. Запасемся терпением.

Тихий омут? Запасемся терпением и дождемся, пока я приду в себя, то есть запасемся в том смысле, как все остальные, – или стерпим до тех пор, покуда в мою память не вернется все бывшее между нами и связывающее нас? И во втором случае, что ты сделаешь со своей стороны, чтобы мне помочь вспомнить? Или же, уповая безраздельно, чтобы все стало как прежде, ты ничего не сделаешь, потому что не тихий омут – а настоящий человек, настоящая любовь и для тебя всего важнее – охранить меня от бед? Зажав уста, зажав чувства, в тишине, уговаривая себя, что это, наконец, прекрасная возможность разрубить гордиев узел? Принесешь себя в жертву, воздержишься от прикосновения, не предложишь мне ключ к тайне, не причастишь никакому мадлену – а ведь ты, в любовной гордыне, полностью убеждена, что никому другому не известно заклинание, распахивающее сезам, а тебе-то хватило бы лишь скользнуть по моей щеке прядью твоих волос, наклонившись и подав мне исписанную картонку. Или опять проговорить волшебные и решающие слова, простые, банальные. Слова – канва, та самая канва, по

которой мы вышивали наши узоры четыре года, процитируй, произнеси – скажи заклинание! Только мне и тебе ведом его подлинный смысл… Попробую угадать, что это за слова. *Et mon bureau?* Нет, ошибочка. Это Рембо.

Прощупаем что возможно.

– Сибилла, вы обращаетесь ко мне *monsieur Bodoni,* потому что мы как будто наново знакомимся? Может быть, мы, работая вместе, говорили друг другу «ты», как все на свете сотрудники?

Зарделась и опять – то же самое нежное всхлипывание.

– *Oui, oui, oui,* именно, я тебя называла Ямбо. Спасибо, что спросил. Так мне будет гораздо легче.

Глаза осветились счастьем. У нее камень с сердца свалился. Ну и что? Называть коллег на «ты» у нас в Италии принято, вот и Джанни со своей секретаршей, как мы с Паолой слышали вчера в его офисе, разумеется, общается на «ты».

– Ну и чудненько! – произношу я с крайне веселым видом. – Все должно возобновиться точно так, как было всегда. Ты ведь знаешь, как и что было всегда. И можешь помочь мне.

Что она поняла? Что имеется в виду под «как было всегда»?

Дома я не спал ночь, Паола гладила меня по голове. Я грыз себя: разрушитель семьи. (Вообще-то я ничего не разрушал.) В то же время – сокрушался я не о Паоле, а о себе. Глав-

ная прелесть любви, сетовал я, в том, чтобы помнить. Есть люди, живущие одними воспоминаниями. Например, Евгения Гранде. Какой смысл, если любил, но не можешь припомнить, как любил? Или – хуже – если, может быть, любил, но этого не помнишь и страдаешь ужасным подозрением: а вдруг нет? Кстати, мне пришло в голову! В наглой самоуверенности я не учел еще один возможный вариант! Вполне возможно, что я потерял из-за нее сон и покой, а она меня поставила на место тихо, мило и бесповоротно. Не уволилась, потому что я все-таки приличный человек и с тех пор веду себя как будто никогда ничего не было. Может быть, она любит эту работу; или же просто не может себе позволить потерять место; а может, ей даже льстит мое отношение, подсознательно ее женская гордыня удовлетворена, и она даже сама себе не признается, что обладает надо мной безграничной властью. *Une allumeuse.* И даже хуже: в этот тихий омут текут немереные деньги, я выполняю все ее желания, совершенно ясно, что отчетность в ее руках, в ее ведении касса, банковский счет, на который я выписал ей доверенность, – я уже спел «кукареку» учителя Унрата, уже я пропащий человек, не имеющий выхода, – может, благая болезнь меня спасла? Может, нет худа без добра?..

Сволочь я поганая, как я смею валять в грязи все, до чего дотрагиваюсь! Она еще девственница, а я уже преображаю ее в шлюху! Как бы то ни было, даже и слабое подозрение, вмиг отметенное, отяготило наш сюжет. Если не помнишь –

любил ли, тем более не можешь быть уверен, достойна ли была любимая твоей любви. Эта недавняя Ванесса, ясное дело, принадлежит к категории флиртов, случайных интрижек, к историям длиной в одну или в две ночи. В случае Сибиллы дело другое. Шутка сказать, четыре года жизни. Ямбо, постой, ты что же, влюбляешься не на шутку? Может быть, прежде и не было ничего, а тут вот здрасте? Лишь оттого, что вообразил былые адские терзания – и очертя голову кидаешься в них как в рай? Ну есть же идиоты, которые пьянствуют, чтобы забыться. Пьянствуют или там колются, говорят – все выходит из головы… Я скажу вам! Самое жуткое как раз, когда из головы все выходит. Есть ли на свете наркотик для вспоминания?

Может… Сибилла…

Все завертелось. *Когда идешь ты, струясь власами, Походкой царской Я провожаю тебя глазами – головокруженье.*

Наутро я схватил такси и помчался к Джанни на работу. Потребовал, сквозь зубы, выкладывать, что он знает о моих отношениях с Сибиллой. Джанни был ошарашен.

– Господи, Ямбо, все мы, конечно, таем при виде Сибиллы… я, естественно, и твои коллеги, и даже многие из клиентов… Есть кто приезжает специально посмотреть на Сибиллу. Но это все на уровне шутки, просто такая милая игра, вроде школьного ухаживания. Все над всеми подшучивают.

И конечно, над тобой всегда подшучивали, требовали признаться – как там на самом деле дела с прекрасной Сибиллой. Ты улыбался, закатывал глаза, давая понять, что страсти кипят у вас бешеные, а иногда просил прекратить эти шутки, потому что она годится тебе в дочери. Так мы всегда шутили и смеялись. Поэтому я так игриво тогда сказал про Сибиллу, думал, что ты уже повидался с ней, и хотел узнать, как прошла встреча.

– То есть я не рассказывал ничего о своих отношениях с Сибиллой?

– Нет, а было что рассказывать?

– Джанни, не валяй дурака, ты ведь знаешь – я утратил всю память. Специально приехал к тебе, чтоб спросить, не рассказывал ли я чего часом.

– Ничего. Хотя в общем и целом о твоей личной жизни ты меня информировал всегда. Может, чтобы подразнить. И о Кавасси, и о Ванессе, и об американке на лондонской книжной ярмарке, и о хорошенькой голландке, к которой ты трижды мотался в Амстердам, и о Сильване…

– Ого, сколько же баб у меня было.

– Да, мало не покажется. В особенности мне, примерному семьянину. Однако о Сибилле, скажу как на духу, – ни разу не было ни слова. С чего ты заскакал как сумасшедший? Вчера ты увидел Сибиллу, она тебе улыбнулась, и ты решил, что невозможно было сидеть годами вместе и не попытать удачи? Это очень неоригинально. Оригинально было бы, ес-

ли бы ты закричал: что это за жаба? Кстати, никто на свете не знает, есть ли у Сибиллы личная жизнь. Всегда спокойна и радостна и готова помогать каждому, как будто желает доставить удовольствие ему лично. Опаснейшее кокетство в отсутствии ужимок… Ледяная сфинга.

Джанни вряд ли меня обманывал, но это, однако, ничего не значило. Если с Сибиллой действительно был роман и если он был гораздо серьезнее, чем все прочие истории, то, ясное дело, я не ходил исповедоваться ни к кому и не оповещал Джанни. Это была наша сокровеннейшая тайна, моя и моей Сибиллы.

А может, и нет. Ледяная сфинга в нерабочее время имеет личную жизнь. Она уже давно делит ложе и кров с каким-то парнем. Кому какое дело. Она – совершенство, но, разумеется, не смешивает работу с приватной жизнью. Больнейший укус ревности к незнакомому сопернику. *Кому случится, кому сулится Твоя невинность, ключ родниковый? Рыбарь досужий, добудет жемчуг Простой удильщик.*

– Ямбо, нашла тебе чудную вдову, – сказала мне Сибилла хитрющим голосом. Начинает шутить со мной, вот здорово.

– Это как понимать? – спросил я.

Сибилла пояснила, что книги приходят к антикварам, как правило, несколькими стандартными путями. Бывает, их приносят прямо в контору, ты оцениваешь в меру своей порядочности, но, конечно, хоть что-то стараешься заработать.

Бывает, что книгу продает коллекционер, он знает, сколько она стоит на самом деле, то, что удается выторговать, – это крохи. Книги приобретаются и на международных аукционах, но удачными могут считаться только случаи, когда ты один из всех догадался об истинной ценности книги; но чтоб ты один, и никто другой, – это бывает раз в сотню лет, ведь окружающие не идиоты. Если покупать у коллекционеров, наценка при последующих перепродажах получается минимальная, так что это рентабельно только в случае супердорогих книг. Приходят книги и от коллег, от других букинистов, если их клиентура не испытывает интереса к какому-то изданию и не намерена на него разоряться, а ты, наоборот, как раз нашел фанатика, на все готового.

И наконец, стратегия стервятника. Надо наметить благородное семейство, чья звезда понемножечку закатывается. Старый дворец, обветшалая библиотека. Дожидаешься смерти дядюшки, отца, мужа. У наследников возникают проблемы с реализацией мебельных гарнитуров и драгоценностей. Они понятия не имеют, как распродать кучу книг, ни разу в жизни, разумеется, ими не открывавшихся. Мы с тобой присваиваем этим наследникам кодовую кличку «вдова», хотя, конечно, наследник может представать и в образе внука, желающего получить пускай немного, однако в лапу и без промедления (идеальный вариант – если внучек бабник или, допустим, наркоман). Идешь на место, рассортировываешь книги, проводишь в пыльных комнатах когда два, а

когда и три дня, прикидываешь и решаешь.

Очередная вдова была именно вдовой, Сибилла получила эту наводку от кого не знаю (секреты фирмы, прошуршала она удовлетворенно и лукаво), а вдовы, судя по всему, считались моим контингентом. Я позвал Сибиллу пойти со мною, опасаясь по недосмотру проморгать самую крупную рыбу. Какая замечательная квартира, да-да, синьора, с удовольствием, коньяк, только немного. И немедленно – рыться, *bouquiner, browsing…* Сибилла суфлировала правила. Среднестатистически в наборе бывают двести или триста томов нулевой стоимости, несколько старых библий и богословских трактатов – эти пойдут потом на развалы на ярмарке Св. Амвросия. Тома в двенадцатую долю, шестнадцатого века, содержащие «Приключения Телемаха» и утопические путешествия, в одинаковых переплетах, предназначаются дизайнерам по интерьеру, те покупают их погонными метрами, не открывая. Затем малоформатные томики шестнадцатого века, Цицероны и «Риторики к Гереннию», ничего серьезного, прямая им дорога в киоски уличных торговцев на площади Фонтанелла Боргезе в Риме, где их спихивают за удвоенную цену тем, кто желает хвастаться: «Есть у меня и издания шестнадцатого…»

И все же, вороша и копаясь, наталкиваешься подчас, ну скажем, на совершенно иного Цицерона – в альдинском курсиве, или даже на «Нюрнбергскую хронику» в идеальном состоянии, на Ролевинка, на «Великое искусство света и тени»

Афанасия Кирхера с чудными гравюрами и лишь с несколькими пожелтелыми страницами, что для бумаги того времени – абсолютное чудо, или даже на обольстительного Рабле, отпечатанного *Chez Jean Frédéric Bernard* в 1741 году: комплектный трехтомник ин-кварто с виньетками Пикара в роскошном переплете красной марокканской кожи, с золотым тиснением на крышках, с конгревным тиснением и с позолотой на корешке, форзацы из зеленого шелка с золотой зубцовкой – которые покойник заботливо укутывал голубой бумагой, чтобы не попортить, поэтому при беглом осмотре они не производили никакого впечатления… Ну, это не «Нюрнбергская хроника», шептала Сибилла. Здесь переплет новодельный, хотя сделан честно и мастерски, у знаменитых *Rivière & Son.* Так что Фоссати заберет эти три тома не раздумывая, потом объясню, кто такой Фоссати, коллекционирует переплеты.

В конце концов определили десяток книг, которые при перепродаже, если все выгорит, принесут не менее сотни тысяч долларов. От одной «Хроники» можно было ожидать как минимум пятидесяти тысяч прибыли. Кто знает, как угораздило их попасть в библиотеку этого нотариуса, для которого книги были статус-символом, но на фоне отчаянной скаредности: я уверен, нотариус приобретал только то, что не требовало от него финансовых жертв. Эти ценные тома к нему попали, предполагаю, сорок – пятьдесят лет назад, когда потрепанный книжный хлам вообще принято было выбрасы-

вать на помойку.

Сибилла кратко проинструктировала меня, что делать дальше, я попросил хозяйку к нам присоединиться, и все пошло – как будто век не прекращал свою обычную практику. Я ей поведал, что книг действительно много, но стоимость их невысокая. Я выложил на стол самые увечные экземпляры, со ржавыми страницами, с потеками влажности, расколами книжных блоков, с поцарапанными переплетами, как будто их терли наждаком, в кружевах от червоточин, вот, глядите еще, профессор, подпевала Сибилла, такое коробление неисправимо даже под прессом, я помянул ярмарку Св. Амвросия.

– Не знаю даже, заберут ли у меня все это, синьора, и не стоит уж говорить, что складские площади нынче – самое дорогое удовольствие… Предлагаю пятьдесят тысяч долларов за всю эту партию.

Партию?! О-о! Я считаю употребимым слово «партия» – говоря о книгах?.. Я считаю достаточной сумму в пятьдесят тысяч за изумительную библиотеку, которую муж собирал целую жизнь? Да это оскорбление памяти покойника! Выслушав все, что полагается, я плавно перехожу ко второй части.

– Знаете ли, нас интересуют разве что вот эти десять. Готов пойти навстречу и предлагаю тридцать тысяч за эту десятку.

Вдова прикидывает. Пятьдесят тысяч за большую библио-

теку выглядело скандально, тридцать тысяч за десять книжек – вроде бы вполне прилично. А библиотеку, наверно, можно будет продать какому-нибудь еще букинисту, не такому переборчивому и прижимистому. Ударяем по рукам и подписываем.

Возвращаемся в офис полные радости – школьники, сдувшие контрольную.

– Это большое свинство? – спрашиваю я.

– Да что ты, Ямбо, так поступают все, *così fan tutti.*

А, Сибилла тоже поигрывает словами навроде меня.

– Будь там не ты, а другой, ей дали бы еще меньше. И потом, ты видел, что там за мебель, картины, серебро, у этих людей денег куча, и книги их не интересуют. А мы работаем для тех, кому книги все-таки интересны.

Что бы я делал без Сибиллы. Жесткая и нежная, хитрая как голубица. Опять меня повело на сладкие мысли, завертелся осточертелый волчок – а может, а может…

Однако, к счастью, беседа с вдовушкой меня измотала. Пришлось отправляться домой. Паола высказала мнение, что за последние дни я стал совсем какой-то умученный. Лучше, вероятно, мне ходить в контору не каждый день, а через день.

Я старался думать о постороннем:

– Сибилла, моя жена сказала, что у меня была подборка высказываний о тумане. Где они?

– Да, есть куча рваных ксерокопий. Но я переписала все тексты в компьютер. За что благодарить, это просто удовольствие. Я сейчас, мы быстро найдем, в какой папке.

Я, конечно, знал, что существуют на свете компьютеры (как и что существуют аэропланы), однако, безусловно, я притронулся к компьютеру впервые в этой новой жизни. Все вышло как с велосипедом – стоило сесть за клавиатуру, пальцы забегали самостоятельно.

Туманов у меня набралось на сто пятьдесят страниц. Действительно, думаю, сильно мне душу перепахали эти туманы… Вот «Флатландия» Эбботта: двухмерная среда, где живут только плоские фигуры, треугольники, квадраты, многоугольники. Если они не способны смотреть сверху, а при взгляде сбоку видимы только линии, как же им узнавать друг друга? А благодаря туманам. *Если в атмосфере присутствует туман, то предметы, которые находятся на расстоянии, скажем, в три фута, мы видим значительно хуже, чем предметы, расположенные на расстоянии двух футов одиннадцати дюймов. В результате тщательное и постоянное наблюдение за сравнительной ясностью или расплывчатостью линий позволяет нам делать заключение о конфигурации предметов, причем с огромной точностью.* Везет же треугольникам, блуждают себе в тумане и все понимают: вот он шестиугольник, вот он параллелепипед. Хотя двухмерные, однако счастливее меня. Большинство накопленных цитат я знал наизусть.

– И с чего бы это? – ломал я голову, рассказывая Паоле. – Ведь все мое должно было быть забыто? А коллекция цитат уж такая моя! Она подобрана лично мною.

– А ты не думай, будто помнишь то, что насобирал, – отвечала Паола. – Ты, наоборот, насобирал все, что помнил. Цитаты – часть твоей энциклопедии. Как все те прочие стихотворения, которые ты читал здесь мне в первый день, вернувшись из больницы домой.

Как бы то ни было, цитаты я припоминал сразу. Начиная с известной Дантовой:

Как, если тает облачная мгла,
Взгляд начинает различать немного
Все то, что муть туманная крала,

Так, с каждым шагом, ведшим нас полого
Сквозь этот плотный воздух под уклон,
Обман мой таял, и росла тревога…

У Д'Аннунцио хороший туман в «Ноктюрне»: *Кто-то проходит рядом со мной, не вызывая шуму, будто бы босиком… Туман попадает в рот, наполняет легкие. У Каналь Гранде туман скопляется, застаивается. Незнакомцы все серы, все легки, незнакомцы – тени. Под самым домом антиквара он вдруг стремительно исчезает.* Вот антиквар – истинно черная дыра: что упало, то пропало, не жди возврата.

Вот Диккенс, известное начало «Холодного дома»: *Туман*

везде. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами; туман в низовьях Темзы, где он, утратив свою чистоту, клубится между лесом мачт и прибрежными отбросами большого (и грязного) города. Туман и у Эмили Дикинсон: *Let us go in; the fog is rising.*

– Пасколи я не читала до сих пор, – говорила Сибилла. – Ты подумай, какая прелесть.

Сейчас она совсем близко склонилась ко мне, чтобы читать с монитора, так что могла бы и скользнуть прядью по моей щеке. Могла, но не скользнула. Теперь уж не по-французски, она тихо читала по-итальянски с этим мягким славянским выговором:

E' tacito, è grigio il mattino;
la terra ha un odore di funghi;
di gocciole è pieno il giardino.

…Immobili tra la leggiera
caligine gli alberi: lunghi
lamenti di vaporiera…

…Немо и серо утро,
земля пропахла грибами,
и каплями полон сад.

Деревья в туманной пудре,
и горестно за стволами
локомотивы трубят.

Третью цитату она не сумела прочитать:
– *La nebbia… gemìca?*
– *Gèmica.*
– А, понятно.
Видно, она рада выучить новое слово.

La nebbia gemica, tira una buffa
ch'empie di foglie stridule il fosso;
lieve nell'arida siepe si tuffa
il pettirosso…

Взвыл туман, заворотил листы
и в канаву зашвырнул взакрутку,
прыгнула в неплотные кусты
красногрудка;

Под туманом бьются камыши
и трясется рощица окольня,
над туманом высится в тиши
колокольня…

Замечательный туман у Пиранделло, вот неожиданность, казалось бы – как может быть хороший туман у сицилийца? *Туман рвался в клочья… Вокруг каждого фонаря зевал ореол.* Хотя, конечно, куда ему против миланского тумана, описанного Альберто Савинио: *Туман комфортабелен. Он пре-*

вращает города в большие бонбоньерки, а жителей в конфеты. В тумане идут женщины и девушки в капюшонах. Легкий пар витает у их ноздрей, полуоткрытых губ. Входить в гостиные, расширенные зеркалами… Целоваться, выдыхая остатки тумана, когда снаружи туман жмется в окно, матовит стекла, ненавязчивый, томный, покойный…

Миланские туманы у Витторио Серени:

> Распахнуты в пустоту двери в туманный вечер. Никто не входит – не выходит, разве что кроме кома смога, кроме вопля мальчишки – вот парадокс – «Иль Темпо ди Милано» – алиби, благословение. В тумане все потаенное сокрыто, движется и доходит до меня, отходит от меня историей, памятью, двадцатый – тринадцатый – тридцать первый года как трамвайные номера…

Чего я только не надергал. Вот «Король Лир»: *Туман болотный, Подъятый мощным солнцем, отрави Всю красоту ее, убей в ней гордость!*

А Дино Кампана? *Через бреши ржавых рыжих бастионов, размытых туманом, отверзаются молча долгие улицы. Коварный пар тумана угрустняет дворцы, кутая башенные макушки, на немых и опустелых стогнах, как после разгрома.*

Сибиллу обворожил Флобер: *Голые окна спальни, расположенной во втором этаже, пропускали белесый свет. В окна заглядывали верхушки деревьев, а там дальше при лунном*

свете над рекой клубился туман, и в нем тонули луга.

Восхитилась она и Бодлером: *В туманной сырости дома, сливаясь, тонут, В больницах сумрачных больные тихо стонут.*

Эти чужие слова пробивались из Сибиллиных уст с журчанием, будто из ледового кладезя. *Кому случится, кому сулится Твоя невинность, ключ родниковый?*

Сибилла была, тумана не было. Туман рассеялся от чужих глаз, от чужих слов. Может, когда-нибудь мне удастся занырнуть в тот туман, если Сибилла поведет меня бок о бок, рука в руке.

Я несколько раз показывался Гратароло, он одобрял все действия Паолы. Он сказал, что благодаря ее разумному поведению я стал почти самостоятелен и сумел счастливо избежать примарных фрустраций. Это он так думает, Гратароло.

Вечерами мы (я, Джанни, Паола и наши девочки) играли в тихие игры – в скрэббл. Домочадцы утверждают, что это мое любимое занятие. Я все так же бойко, как до болезни, подбираю слова, в том числе очень хитрые, вроде *акростих* (уцепившись за слово *акр),* или очень заковыристые, типа *зевгма.* Я оприходовал ценные буквы «Э» и «З» в двух далеко друг от друга отстоящих клетках, заняв концом слова угловой красный квадрат и сумев наступить еще на один красный квадрат: выложил слово *эмфитевзис.* Двадцать одно очко, умножаем результат еще и на девять (потому что есть две

красные клетки, каждая из которых – утроение); плюс пятьдесят очков в качестве приза за освоение всех имеющихся на руках букв; вот двести тридцать девять очков единым махом. Джанни обозлился: ах, вот ты какой! Если это называется терять память! – вопил он. Думаю, это был наигрыш, чтобы меня ободрить.

Беда не только в потере памяти, а в том, что моя новая память – фуфло. Гратароло что-то проронил в самом начале о том, что, имея память в таком примерно состоянии, как моя, кое-кто придумывает себе обрывки прошлого, ни в малой мере не переживавшегося взаправду, – чтобы иметь хоть какие-то воспоминания. Что, и Сибилла тоже – только фикция?

Надо как-то спасаться. На работу ходить – мука смертная. Я сказал дома Паоле:

– Работать утомительно. Вечно одно и то же, одна и та же улица. Уехать, что ли? Мой офис дышит полной грудью, всем заправляет Сибилла, подготавливает каталог. Мы можем поехать, ну скажем, в Париж.

– Париж – вот это точно будет для тебя «утомительно». Перелет, гостиница… Надо обдумать.

– Ну не в Париж, тогда *в Москву, в Москву*…

– Откуда к тебе Москва?

– Из Чехова. Ты знаешь, цитаты – мои единственные фонарики в тумане.

Глава 4
Я один по улицам иду

Мне показали кучу семейных фотографий, которые, естественно, ничего мне не говорили. Там были только фото, снятые за годы совместной жизни с Паолой. Все детские фотографии были где-то в другом месте. Вероятно, в имении Солара.

Я поговорил по телефону с сестрой, она звонила из Сиднея. Когда она узнала, что со мною случилось, собралась было лететь сюда, но сама была после операции, и доктора запретили ей такой дальний перелет.

Ада попыталась что-то вызвать из моей памяти, потом перестала пытаться и просто заплакала. Я сказал, что когда она поедет, я попрошу ее привезти мне утконоса, с хорошим характером и прирученного. Почему утконоса – сам не знаю. Моих зоологических познаний хватало и на кенгуру, но всякому известно, что за ними убирать – замучаешься.

На работу я ходил только на несколько часов. Сибилла возилась с каталогом и, естественно, замечательно ориентировалась в библиографии. Я время от времени пробегал глазами ее наработки, говорил, что дело идет прекрасно и что мне нужно к врачу. Она с беспокойством провожала меня взглядом. Думает, что я совсем больной, сильно ненормальный?

Думает, что я ее избегаю? Не могу же я сказать ей: «Ты не должна служить мне подпоркой, моей хромоногой памяти, каркасом для реконструкции… милая, родная, любимая?»

Я спросил у Паолы, какова моя политическая ориентация:

– Не хотелось бы обнаружить, что я, к примеру, фашист.

– Ты, что называется, порядочный человек и демократ, – ответила Паола, – но больше по интуиции, чем по идейности. Ты любишь провозглашать, что политика скучна – и дразнишь меня «пассионария». Ты как будто прячешь под старинными книгами свой страх или презрение к миру. Нет, хотя, если разобраться… На моральные стимулы ты отзываешься. Подписываешься под письмами неагрессивных пацифистов, не выносишь расизма. И даже член общества противников вивисекции.

– Вивисекции животных, полагаю.

– Да, естественно. Вивисекция людей называется война.

– Что ж, и раньше… когда мы еще не были знакомы, я тоже исповедовал эти взгляды?

– Ну, насчет отрочества и юности я из тебя мало что сумела вытянуть. И вообще не все мне было в тебе ясно, я имею в виду – в идейном плане. В тебе как-то сочетались отзывчивость и цинизм. Если дело шло о смертных приговорах, ты подписывался под протестами, давал деньги на лечение наркоманов и так далее, но когда при тебе упоминалось, что погибло десять тысяч детей, ну, не знаю, в Центральной Африк-

ке, ты на это заявлял, что мир устроен до крайности паскудно и поделать с этим лично ты не можешь ничего. Ты всегда был жизнерадостен, ухаживал за красотками, пил вино, слушал музыку, но меня не покидало ощущение: все это внешний декор, попытка спрятаться. Чуть покопаешь, и вылезут традиционные темы, что история – кровавый бред и что мир – неизвестно чья оплошность.

– *У меня нейдет из головы, что наш мир – создание сумрачного божества, что я и сам – частица его мрака.*

– Кто это сказал?

– А бог его знает.

– Значит, это сказал кто-то, кто тебя сумел зацепить… При всем при том, если тебя о чем-то просили, ты в лепешку разбивался – выполнял, да и без всяких просьб, помню, что с тобой творилось во время флорентийского наводнения, через два часа ты был уже во Флоренции и простоял всю неделю по колено в грязи, спасая книги Национальной библиотеки. Ну в общем, я могу сформулировать – ты был отзывчив на невеликое и циничен в отношении великого.

– По-моему, довольно здравая позиция. Занимайся тем, что тебе по силам. Остальное – это недоработка бога, как говаривал Граньола.

– Кто такой Граньола?

– Этого я тоже не сумею сказать. Но когда-то, как ты понимаешь, знал.

Что еще я знал когда-то?

Однажды утром я пробудился, *о белла чао белла чао белла чао чао чао, я пробудился, преобразился, пошел варить себе caffè* (увы, без кофеина) и при том напевал: *Roma non fa' la stupida stasera.* Почему эта песня крутилась у меня в голове? Прекрасный знак, сказала Паола, от утра к утру ты все больше напоминаешь самого себя. Тем самым я узнал, что, оказывается, я каждое утро, готовя кофе, напеваю себе под нос. Без всякого объяснения – почему именно одну песню, а не другую. Любые расследования (что мне привиделось во сне, о чем мы говорили накануне вечером, что я читал на ночь) никогда не давали удовлетворительных результатов. Может, ну не знаю, когда я надевал носки, что-то навеяло? От цвета рубашки что-то прорезалось? Пакеты на кухне о чем-то напомнили? От каких-то явно несущественных впечатлений всякий раз задействовались новые участки музыкальной памяти.

– Однако, – провозгласила Паола, – характерно, что в твой репертуар входили исключительно песни начиная с пятидесятых годов, ну максимум – мелодии первого сан-ремского фестиваля: *Vola colomba bianca vola* и *Lo sai che i papaveri.* Никогда ты не опускался в толщу истории, никогда я от тебя не слышала ни одной музыкальной фразы сороковых, тридцатых или двадцатых годов.

Паола напела мелодию *Sola me ne vo per la città* — звуковой фон послевоенного времени, – хотя в те времена она бы-

ла еще ребенком и песню эту может помнить в основном из-за радио, которое транслировало ее беспрерывно. Конечно, мне мелодия показалась знакомой, но не вызвала никакого интереса. Такой же эффект, как если бы мне пропели *Casta diva.* Точно, я никогда не был большим опероманом. Никакого сравнения с *Eleanor Rigby,* скажем, или с *Que serà serà, whatever will be will be,* или с *Sono una donna non sono una santa.* Что же до мелодий и ритмов довоенной эстрады, Паола мотивировала мое равнодушие «вытеснением детского опыта».

Все годы нашей общей жизни, добавила Паола, я интересовался классической музыкой и джазом, любил ходить на концерты, ставил пластинки, но никогда не включал радио. Ясно, что радиопередачи как класс принадлежали, вкупе с деревенским имением, к другим периодам.

Однако на следующее утро, готовя кофе, я пропел вот что:

Sola me ne vo per la città
passo tra la folla che non sa
che non vede il mio dolore
cercando te, sognando te, che più non ho…

Io tento invano di dimenticar
il primo amore non si può scordar
è scritto un nome, un nome solo in fondo al cuor
ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amor,
il vero amor, il grande amor…

Я одна по улицам иду
через равнодушную толпу,
никому не важно, что со мною,
кого я помню, кого ищу и кто виною…

Не хочу припоминать тебя,
но, увы, любовь забыть нельзя,
твое имя повторю с тоскою,
ты ведь был, и я узнала, что такое
такая любовь, большая любовь, все пережитое…

Мелодия лилась сама собой, я растрогался чуть ли не до слез.

– Ну вот почему теперь ты это поешь? – спросила Паола.

– Не знаю. Может, потому, что она называлась «В поисках тебя». Кого – тебя?

– То есть ты теперь отпятился в сороковые годы, – размышляла вслух Паола.

– Может, главное и не в этом, – отвечал я. – У меня что-то внутри зашевелилось. Вроде озноба. Или не озноб. Или как будто… Помнишь «Флатландию», ты ведь тоже читала. Там герои – треугольники и квадраты – живут в двух измерениях, у них отсутствует идея объемности. И с ними вдруг вступает в контакт кто-то вроде нас с тобой, выходцев из трехмерного мира. Этот кто-то трогает их сверху, нажимает на поверхность. У плоских героев появляется ни с чем не сравнимое

ощущение, хотя они не способны даже сказать, что это. А мы, трехмерные, чувствуем то же самое, если с нами вступает в контакт четвертое измерение. Мы не способны описать это чувство. Нечто из четвертого измерения трогает нас изнутри, ну, скажем, за селезенку, так осторожненько… Что мы ощущаем, когда нам пожимают селезенку? Я бы сказал… таинственное пламя.

– Какое таинственное пламя?

– Не знаю, я просто так сказал.

– И ты что-то такое ощутил, когда увидел снимок родителей?

– Почти. Хотя не совсем. Хотя почему не совсем? Что-то такое.

– Это интересные данные, Ямбо, они говорят о многом.

Паола все поддерживает меня, все ободряет. А я, между нами говоря, запылал таинственным пламенем, возмечтав о Сибилле…

Воскресенье.

– Пойди пройдись, – сказала Паола. – Хорошее занятие. Не выходи только за пределы знакомого района. На площади Каироли есть цветочный киоск, он открыт и в выходные. Купи цветов, каких-нибудь повеселее, или роз купи, а то эта квартира напоминает склеп.

Я отправился на Каироли, ларек был закрыт. Я профланировал по улице Данте до Кордузио, уклонился направо к бир-

же и оказался на воскресной толкучке всех миланских коллекционеров. На улице Кордузио продавали марки, на улице Арморари – старые открытки и картинки, весь Центральный пассаж был заполнен коллекционерами монет, солдатиков, образков, часов и телефонных карточек. Коллекционирование – страсть анальная, да и мой род деятельности тоже относится к анальной сфере психики.

Люди собирают что угодно, даже колпачки от кока-колы. Или инкунабулы, как в моем случае. Кока-кольные колпачки дешевле инкунабул. На площади Эдисона, слева от книжного развала, за подборками старых журналов, рекламных плакатов и табличек, предлагается разный старый хлам: лампы якобы стиля либерти, на самом деле новодел, черные подносы с жирными цветами, фарфоровые балерины.

На лотке четыре запечатанные цилиндрические банки, в них прозрачный раствор (формалин?), а в формалине круглые или вытянутые голыши, обвитые белесыми тяжами. Что-то морское, голотурии, головы спрутов, вылинявшие кораллы? Или болезненное порождение тератологической фантазии? Какой художник создал такую скульптуру? Ив Танги?

Лоточник пояснил, что это законсервированные тестикулы: кобеля, кота, петуха и какого-то еще животного, с почками и мочеточниками.

– Девятнадцатый век. Научные пособия. Сорок долларов штука. Одни контейнеры стоят больше. Этим экспонатам по сто пятьдесят лет. Четыре на четыре шестнадцать. Отдам всю

серию за сто двадцать.

Эти тестикулы были очаровательны. Наконец-то нечто, не пришедшее ко мне из семантической памяти, о которой толкует Гратароло. И в то же время не относящееся к индивидуально накопленному опыту. Кто это индивидуально накапливает опыт встречи с песьим хреном, в смысле – без остального кобеля, в абсолютном виде? Я порылся в кармане, у меня только сорок-то и было, чеками у лоточников не платят.

– Мне собачьи, пожалуйста.

– Напрасно не берете всю серию. Оказия.

Всего не укупишь. Я вернулся домой с кобелиным хреном, Паола переменилась в лице:

– Чудная вещица. Настоящее произведение искусства. Где мы ее поставим? В гостиной, и, когда будем подавать к столу тефтели или оливы в тесте, гостей будет рвать на ковер? Или ты предлагаешь в спальне? Извини, конечно, но придется тебе отправить это к себе в антикварню, там с каким-нибудь фолиантом по естественным наукам эти яйца найдут общий язык.

– А я думал тебя обрадовать.

– И обрадовал, потому что ты единственный мужчина на свете, которого жена посылает купить розы, а он приходит с собачьими яйцами.

– Ну ведь я же неповторим. Меня когда-нибудь запишут в Гиннесс. И вообще, ты же знаешь, я болел.

– Не выкручивайся. Ты и до болезни был с большим при-

ветом. Не случайно ты заказываешь своей сестре утконоса. Однажды ты чуть не приволок китайский бильярд шестидесятых годов, который стоил как картина Матисса, а грохотал, как все дьяволы ада.

Ту толкучку, оказывается, Паола знала, более того, ее знавал и я в прежней жизни, я купил там однажды первое издание «Гога» Папини, оригинальный переплет, неразрезанные листы, за десятку. Через неделю, в воскресенье, Паола пошла со мной в качестве сторожа, потому что, сказала она, если я вернусь на этот раз с яйцами динозавра, придется ломать двери, чтобы пронести их в гостиную.

Марок не надо, телефонных карточек не надо, а старые газеты меня волновали. Это время нашего детства, сказала Паола. Я на это:

– Ладно, бог с ними.

Но мимоходом мне в поле зрения попали комиксы про Микки-Мауса. И рука сама потянулась. Дело шло о позднейшей перепечатке, что-то вроде семидесятых годов, это ясно по обратной сторонке переплета, да и по стоимости. Я открыл на середине:

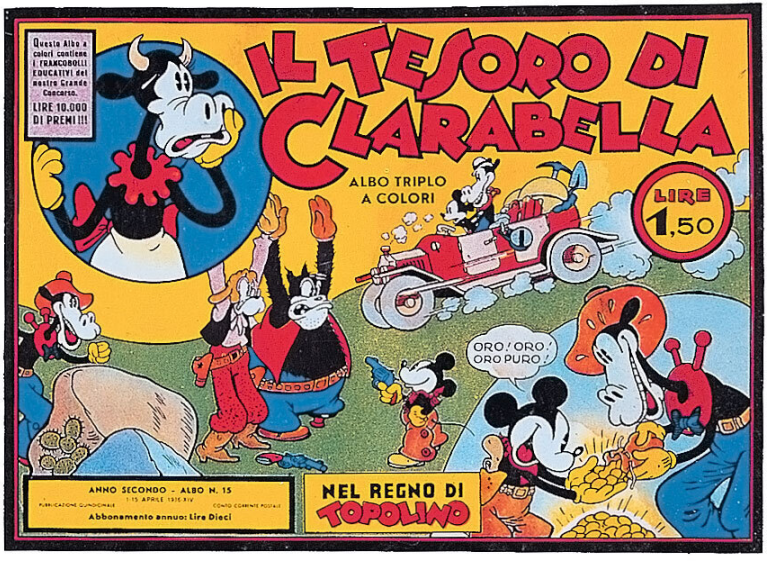
– Даже не пытаются воспроизвести оригинал, те печатались в два цвета, одна прокатка кирпичного и одна коричневого, а тут с чего-то вдруг белый с синим.

– А как ты можешь знать?

– Не знаю, как могу, а только знаю.

– Но ведь обложка точно как оригинальная, и глянь сюда

– дата 1937, да и напечатанная цена, одна лира пятьдесят, может быть только довоенной.



«Клад коровы Кларабеллы» – тянулась по обложке разноцветная надпись.

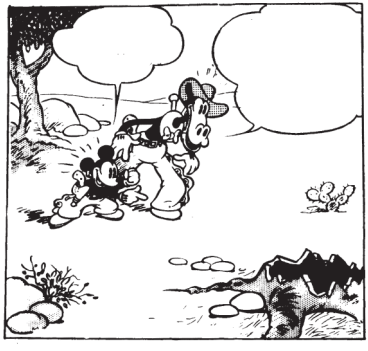
– Это как они дерево перепутали, – сказал я.

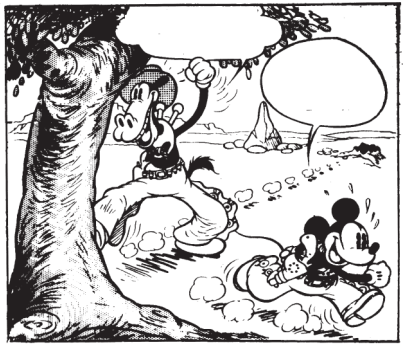
– Какое дерево перепутали?

Я мгновенно пролистал альбом и с поразительной уверенностью раскрыл прямо на нужных кадрах. Почему-то не тянуло читать написанное в пузырях, как будто надписи были на непонятном языке или будто буквы налезали одна на дру-

гую. Я и не читая декламировал тексты наизусть.

– Ну смотри, Микки-Маус и конь Хорас Хорсколлар идут со старой картой искать клад, который закопал не то дедушка, не то дядюшка коровы Кларабеллы. Он всю жизнь боролся против гадостного Эли Сквинча и коварного Одноногого Пита. Они приходят по карте куда надо, находят большое дерево, ведут от него линию к саженцу, ищут место по треугольнику. Роют, роют – ничего. Так и роют, покуда Микки-Маус не догадывается, в чем дело. Карта-то 1863 года. То есть семидесятилетней давности. Ну как же мог семьдесят лет назад уже быть этот саженец! Следовательно, тот давешний саженец – это нынешнее большое дерево, а тогдашнее большое дерево – это сегодня уже трухлявый пень. Ну вот они по дряхлому пню и по большому дереву проводят новые линии, делают новые расчеты и, конечно, выкапывают клад.





– Ого, как же ты все это вспомнил?

– Это входит в набор стандартных знаний, полагаю?

– Ни в какой это не входит в набор. Это не семантическая память. Это автобиографическая память. Это твои сильные детские впечатления. И все раскрутилось от микки-маусной обложки.

– Не знаю, в микки-маусной ли дело. По-моему, сработало имя Кларабелла.

– *Rosebud.*

Разумеется, мы купили этот альбом. Я провел весь вечер, разглядывая, однако ничего интересного не откопал. Так я и думал, все окончилось на корове, никакого тебе таинственного пламени.

– Нет спасения мне, Паола. Я не влезу в этот сезам.

– Но ты же вспомнил как-то про те два дерева.

– А Пруст умел вспоминать про три. Писанина, писанина, книги дома и книги на работе. Вся моя так называемая память – писанина.

– Значит, будем надеяться на писанину, если на мадлен надежды нет. Ну не Пруст ты. Ну что поделать. Засецкому тоже было далеко до Пруста.

– *Кто сей народ и что их сила?*

– Да я сама о Засецком бы не вспомнила, если б не Гратароло. Хотя, конечно, я его читала, этот *Poterjannyj i vozvrascennyj mir*. При моей профессии как я могла не читать

Лурию. Давно, правда, и для какой-то статьи. Сейчас я его перечитала совершенно по-другому, очаровательная книжка, за два часа прочитывается вся насквозь. Итак, Лурия – это такой важный нейропсихолог, русский, он описывает один клинический случай. У него был пациент по имени Засецкий. Во время Второй мировой войны этого Засецкого ранило осколком в голову, и у него была поражена лобно-теменная область левого полушария. Оклемался, но в голове у него была жуткая каша, он даже не умел уяснить положение собственного тела в пространстве. Иногда ему казалось, что части тела меняются местами, что голова у него разрослась, что туловище стало крошечным, что ноги переселились на голову.

– Ну, кажется, это не мой случай. Я не утверждаю, что ноги у меня на голове. Или фаллос на носу.

– Погоди. Ладно бы только ноги на голове. Это он не всегда ощущал. Только временами. А вот хуже обстояло дело с памятью. Память у него была вся лохмотьями, рваная, дырявая, в общем, тебе, знаешь, грех жаловаться. Он тоже не помнил ни где родился, ни как по имени звали его маму, но он еще и разучился читать и писать. Лурия взялся за этот случай. У Засецкого оказалась железная воля. Он с нуля научился заново читать и писать. И стал писать без продыху. За двадцать пять лет он записал не только все, что сумел выволочь из катакомб своей памяти, но еще и все, что с ним происходило изо дня в день. Будто бы его рука автоматически,

самостоятельно умела приводить в порядок все, что не удавалось уяснить голове. Он писал выше себя, умнее себя. Так на бумаге он постепенно находил себя самого. У тебя совершенно другой случай, но что меня поразило, это что он себе обустроил новую бумажную память. Ушло на это двадцать пять лет. А у тебя бумажная уже имеется. И зря ты говоришь, что это – писанина, которой набиты офис и квартира. Я как раз уверена, что твой волшебный клад зарыт в деревенском имении. Я очень много думала на эту тему, поверь мне. Ты слишком резко повернул ключ, расставаясь с писаниной своего детства, с бумажками своей юности. Думаю, там зарыто что-то имеющее к тебе самое главное отношение. Сделай мне божескую милость, собирайся и поезжай в Солару. Поезжай один, потому что, во-первых, меня уж точно сейчас с работы не отпустят, а во-вторых, потому что по-хорошему ты должен пройти весь свой путь самостоятельно. Ты должен встретиться с прошлым сам. Побудешь там сколько-нибудь и посмотришь, что в результате получается. Ну, в крайнем случае окажется, что потерял две недели, зато подышал свежим воздухом. Амалии я уже позвонила.

– Амалии? А кто это – жена Засецкого?

– Ага, его бабушка. Амалия – неотъемлемая часть Солары. Ты про Солару, как можно догадаться, еще не все знаешь. Послушай. Твой дед сдавал землю и строения арендатору Томмазо, уменьшительное имя Мазулу, жену его звали Мария. Земли там было полно, она была под виноградника-

ми, и был в заводе многочисленный скот. Мария тебя знала с рождения и очень любила. У них была Амалия, их дочка, которая на десять лет старше тебя, и она тоже с тобой возилась изо дня в день, и тоже очень любила, и была за старшую сестру, за няньку и за что хочешь. Она тебя боготворила. Когда твои дядья продали землю и продали хуторок на холме, при главном доме были оставлены небольшой виноградник, фруктовый сад, огород, свинарник, крольчатник и курятник. Ни о какой аренде речь вести уже не было смысла, ты передал все Мазулу в безраздельное пользование, с условием, чтобы его семья держала в порядке дом. Потом, увы, не стало Мазулу, умерла и Мария, а что касается Амалии, то она так и не вышла замуж, поскольку красотой не отличалась, поэтому она продолжает жить в нашем доме, продает яйца, продает кур – к ней обращаются из ближайшего бурга, – вызывает раз в году к себе в поместье резника, тот ей забивает кабана, какие-то двоюродные помощники опрыскивают купоросом лозы и помогают собирать урожай. В общем, счастливая жизнь, хотя, понятное дело, одинокая, поэтому главное счастье – когда наведываются наши с тобой девочки с ребятами. Мы платим ей за продукты, за яйца, кур и колбасу, за фрукты с овощами она не берет – все это ваше, еще чего не хватало. Чистый ангел, а уж как готовит, ты сам увидишь. Когда я сказала, что ты, не исключено, приедешь, она чуть сознание не потеряла от счастья: синьорино Ямбо, о боже милостивый, увидите, он тут поздоровеет как миленький, я

салат ему тот самый, который он любит больше всего…

– Синьорино Ямбо. Звучит величественно. Кстати, откуда вы выкопали это имечко?

– Ну, для Амалии ты будешь синьорино и в восемьдесят лет. Откуда взялось имя Ямбо – мне рассказала давным-давно Мария, покойница. Это ты сам себя так назвал. Ямбо – Вихраст. Ну тебя и стали звать Ямбо.

– Кто-кто вихраст?

– Ну, у тебя, вероятно, волосы торчали вихрами. Имя Джамбаттиста тебе, видать, не сильно нравилось, в чем я тебя понимаю. Да бог с ней, с этой ономастикой. Давай поезжай. Поездом нереально, туда с четырьмя пересадками, тебя повезет Николетта, ей, кстати, нужно забрать кучу вещей, которые она позабывала, когда была на Рождество, потом она сразу вернется, тебя оставит на попечении Амалии, и Амалия будет тебя облизывать, она умеет появляться, когда нужно, и исчезать, когда она не нужна. Туда пять лет назад протянули телефон. Если что – позвонишь. Пожалуйста, давай попробуем сделать по-моему.

Я попросил сколько-то дней на размышление. Я, да, конечно, сам что-то блеял только совсем недавно о путешествии, чтобы спастись от тех мучений в антикварне. Но, если честно, хотел ли я действительно спасаться от тех мучений? Если честно?

Куда ни кинь, везде лабиринт. Какое направление ни выбери – ошибка. Да и хочу ли я выбирать? Хочу ли я из это-

го лабиринта выбираться? Кто говорил: *Сезам, откройся, я хочу отсюда выйти?* Мне же требовалось, наоборот, войти, как Али-Бабе. Войти в катакомбы памяти.

Сибилла сама разрубила проклятый узел. Мы сидели в конторе, она вдруг совсем неотразимо всхлипнула, вся пошла розовыми пятнами *(В крови, пыланьем мажущей щеки, Смеется космос)* и, сгибая в бараний рог библиотечную карточку, произнесла:

– Ямбо, ты должен узнать об этом первым… Короче, знаешь ли, я выхожу замуж.

– То есть как ты выходишь? – выпалил я в ответ, что-то вроде «как ты смеешь».

– Ну замуж. Знаешь, когда двое меняются кольцами, а все гости кидают на этих двоих рис?

– Нет, я знаю, что такое замуж… Я имею в виду, ты меня бросаешь?

– Почему бросаю? Он работает ассистентом у архитектора и пока что не так много получает, я должна продолжать работать, вторая зарплата. И вообще, как я могу, как я могла бы тебя бросить?

Вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды.

Конец «Процесса», попросту говоря, конец процесса.

– И что, эта история… я имею в виду, это у вас давно?

– Нет, недавно. Познакомились несколько недель назад. Знаешь, как случается… Он очень хороший. Ты увидишь.

Знаю, как случается. Может, до этого были и другие, тоже «очень хорошие». Может, она воспользовалась случаем, я имею в виду – моим несчастным случаем, чтобы раз и навсегда решить нашу с ней ситуацию. Может, кинулась в объятия первого встречного. Шагнула в неизведанность. То есть я испортил ее жизнь даже двояко. Чем ты испортил ее жизнь, идиот? Жизнь идет своей дорогой, она молода, встретила парня, впервые в жизни влюбилась… Впервые в жизни? Мы уверены? *Кому сулится твоя невинность, ключ родниковый, Не убиваясь, не утруждаясь, примет подарок…*

– Придется придумать тебе хороший подарок.

– Да время еще есть. Мы решили это только вчера вечером. Но я считаю, что должна дождаться, когда ты полностью выздоровеешь, тогда я смогу уйти в отпуск на неделю со спокойной совестью.

Со спокойной совестью. Какие мы совестливые.

Как там говорилось в последней цитате о тумане? В последней из моих выписок? *Когда мы доехали до Римского вокзала вечером в Страстную пятницу, и она вышла из экипажа, и ее охватил туман, мне подумалось, что вот сейчас я теряю ее на всю будущую жизнь, ныне и бесповоротно.*

Значит, гордиев узел развязался сам собою. Прошлое кануло, его вытерли как будто с классной доски тряпкой. Отныне она тебе дочка, она тебе дочка.

Раз так, было можно уезжать. Вернее, должно. Я сказал Паоле, что собираюсь в Солару. Она просияла:

– Увидишь, тебе там будет отлично.

– *Рыбка рыбка камбала, все я делал не со зла, все придумала она, жаднеющая жена.*

– А, ты еще и дразнишься. В деревню, в глушь, там тебе самое место.

Этой ночью, в постели, в то время как Паола додиктовывала мне последние рекомендации на время поездки, я положил ей ладонь на грудь. Она проворковала что-то ласковое, и во мне пробудилось нечто довольно сильно напоминающее желание, это было смешано с нежностью и, по-видимому, с признательностью. Мы обнялись покрепче.

В точности как с зубной щеткой, мое тело, очевидно, прекрасно помнило все, что следовало делать. Это была спокойная любовь, мягкая, медленная. К Паоле экстаз пришел раньше (и так бывало всегда, сообщила она позднее), ко мне чуть погодя. Если разобраться, я впервые побывал с женщиной. В первый раз. Действительно сладчайшее занятие. Как выяснилось, не врут. Я знал это чисто теоретически, а теперь убедился на практике.

– Очень недурно, – проговорил я, откидываясь на подушки. – Теперь понятно, почему это нравится многим людям.

– Ну и дела, – отреагировала на это моя жена Паола, – мне привелось лишать невинности собственного мужа в шестьдесят лет.

– Лучше позже, чем никогда.

Но все же от себя не убежать, и, засыпая рука в руке с Па-

олой, я терзался вопросом: ну а с Сибиллой было бы это так же точно? Или иначе? Дурак, дурак, бормотал я себе, погружаясь в бессознательность, это-то ты не узнаешь никогда.

Мы поехали в деревню. Николетта вела машину, я смотрел на нее сбоку. Судя по моим фотографиям взрослого возраста, нос у нее был как у меня, форма рта тоже. Точно, это плод моих чресел, мое чадо, значит, не привелось мне взращивать чужое порождение.

(Непредосудительно подвинулась косынка, и открылся у нее на персях золотой медальон с искусно выгравированным инициалом Y. О силы неба, возопил я, откуда к вам сия вещица? Я не расставалася с нею, месье, недаром с этим медальоном я была обнаружена на паперти обители монахинь-кларисс в Сент-Обене. Медальон герцогини, госпожи матушки твоей, вырвалось у меня! Нет ли у тебя четырех родимых пятен, расположенных крестообразно, на левом плече? Но каким же образом, месье, вы узнали об этом? Что, оказывается, ты моя дочь, я отец! Отче, отче, вы ли это? Нет, красавица моя, только не падай в обморок, пожалуйста. Мы рискуем слететь с автострады.)

Мы не говорили, я как-то и раньше догадывался, что Николетта по натуре не болтунья, а тут еще и несколько смущена и опасается упомянуть в своих речах что-нибудь такое, о чем я начисто забыл, и я смущусь, а ей не хочется, чтобы я смущался. Я спросил ее только, куда же мы держим путь.

– Солара прямо на границе между Лангами и районом Монферрато, очень красивые места, сам увидишь, папа.

Мне было приятно, что она меня зовет «папа».

После выезда с автострады по краям дороги плыли стрелки с названиями областных городов – Турин, Асти, Алессандрия, Казале. Потом мы внедрились в сеть проселочных дорог, и там-то на табличках замелькали топонимы редкие, дотоле неслыханные. Проехав по равнине, внырнув в какой-то пологий овраг, я увидел впереди на горизонте голубоватый абрис далеких гор. Абрис этот помаячил и исчез, встала темная роща, машина двинулась в деревья по густолистной расщелине – тропики, джунгли. *Что мне теперь до твоих прудов и тенистой лесной сени?*

И все-таки, продвигаясь по коридору, где будто под частым лесом простиралась спокойная горизонтальная равнина, мы на самом деле карабкались вверх, мы въезжали в гущу массива Монферрато, неотступно и неощутимо поднимаясь на давешние маячившие холмы. Вот мы уже в обновившемся мире, в хороводах молодых виноградников. Издалека было заметно, что макушки гор по высоте и по абрису не равны – одни пустовали, на других возвышались церкви, на третьих крупные хутора или даже городки и замки, с гордым видом, вызывающе, приходясь этим горам гармоничнейшим навершием.

Ехали среди холмов почти час. Каждый поворот открывал новую новизну, будто менялись географические ареалы.

Около указателя населенного пункта Монгарделло у меня случилось озарение. Я сказал:

– Монгарделло. Потом Корсельо, Монтеваско, Кастеллетто Веккио, Ловеццоло – и будем на месте, правда ведь?

– Как ты можешь это знать?

– Потому что это общеизвестно, – пробурчал я.

Вообще-то это было явной неправдой. Какие энциклопедии рассказывают о Ловеццоло? Не приоткрывается ли для меня проходик в пещеру?

Часть вторая
Бумажная память

Глава 5
Клад коровы Кларабеллы

И почему я во взрослом виде не так уж охотно наезжал в эту самую Солару – кто знает, чем это объясняется? Я приближался к месту моего созревания. Не к месту, именуемому Соларой формально, не к этому поселку городского типа, наш путь лежал по самой его окраине, по возвышенности, вдоль виноградников на пологих взгорьях. Это был путь к той истинной Соларе, которая лепилась на довольно крутом горном склоне. Неожиданно после серпантина Николетта свернула на проселок, и последовал трясучий проезд никак не менее двух километров, прижавшись к обочине, проезд такой узкий, что непостижимо было, как ухитряются разминуться две встречные машины. Пейзаж слева был типично монферратским – мягкие крупы гор, изузоренные навесами и лозами, зеленеющие на фоне ясного майского неба в тот час дня, когда неистовствует (знал я по себе) полуденный бес. Справа первые отроги Ланг, не такие фигуристые, угловатые, сплошь из кряжистых горных круч, налезающих

друг на дружку, в каждой прорези, в каждой прогалине – в перспективе – отстоящие скалы новых расцветок, а самые далекие горы были голубоватыми.

Я видел впервые этот пейзаж и тем не менее ощущал с ним родство, мне казалось, что, примись я сейчас бежать очертя голову с верхушки холма вниз, я знал бы, куда поставить ногу, на что опереться и как свернуть. Я ведь и после больницы не задумываясь угадал, на какую педаль нажимают, ведя машину. В этой местности я был в своем дому и во власти неопределенной эйфории – самозабвенного счастья.

Проселок превратился в почти отвесную вертикаль, и мы преодолели высоту, после чего тут же следом открылась обсаженная каштанами аллея, а в глубине аллеи большой дом. Просторная площадка между флигелями, две-три цветочные клумбы, над крышей дома выглядывает еще один подъем на холм, и весь подъем окутан лозами винограда. Это владение Амалии. Но трудно было понять с налету, какая у этого дома форма. Я видел первый этаж с высокими окнами – основную, центральную часть с замечательными дубовыми воротами, врезанными в круглую арку, над подъездом – балкон. Слева и справа флигели, оба короче основного здания и без всяких парадных подъездов. Но протяжен ли этот дом в глубину, в направлении горы, это спереди было невозможно сказать.

Вся обратная сторона двора, за моей спиной, была разверзнута, позволяя обзор на сто восемьдесят градусов. Можно было наблюдать оба типа пейзажа, очаровавшие меня во

время пути. А въезд на двор был до того крут, что при взгляде сверху совершенно исчезал из поля зрения, открывая неохватную панораму.

Наблюдения мои, впрочем, были мимолетны, потому что с воплями и причитаниями выскочила крестьянка, которая, соответственно описаниям, могла быть только Амалией, и не кем иным, как ею: коротконогая, крепкая, неопределенного возраста – в точности по словам Паолы – от двадцати до восьмидесяти лет. Лицо пропеченное, похожее на каштан. Безграничное счастье на этом лице. Весь набор восхищений, восторгов, поцелуев и объятий и бестактно сыплющихся расспросов, сопровождаемых немедленным раскаянием: ой, да что ж это я! – рот тогда прикрывается ладонью, – но немедленно опять град вопросов: помнит ведь синьорино Ямбо и то и это, ну уж точно не мог он запамятовать, признал, поди, а Николетта из-за моей спины, полагаю, мотала ей головой и отчаянно жмурилась, но без всякого результата.

Вихрь и шум, не поразмыслишь, не расспросишь, стремительно сгружается багаж и вносится в двери левого флигеля, того самого, который привела в порядок Паола для нас и для детей, и я теперь могу разместиться там, если только, конечно, не пожелаю ночевать в большом доме, на половине синьора покойного дедушки, земля пухом, в той половине, где прошло все мое детство, она-то стоит вообще-то под ключом, будто церковь, но Амалия заходит, не забывает, и

там пыль вся сметена, и комнаты проветрены, и не пахнет ни сыростью, ни плесенью, а более ничего Амалия там не делает, потому что зачем же трогать, эта половина для нее чисто как церковь.

Парадные залы первого этажа в той части дома стояли, однако, незапертыми, они служили складом яблок, помидоров и прочих садово-огородных радостей, и в них продукты дозревали и хорошо предохранялись от жары. Я с любопытством вступил под старые своды, вдохнул пряный запах трав, плодов и зелени, на большом столе были разложены скороспелые фиги, самые скороспелые, я не сумел удержаться – взял попробовать одну – и похвалил: наша-де смоковница до сих пор еще чистое чудо, – но Амалия закричала, да ведь смоковница у нас не одна же! Их же полдюжины у нас! И одна другой плодливее смоковницы у нас! Извините, Амалия, это я оговорился. Да почто извинять, ясное дело, сколько думает наш синьорино Ямбо, сколько мыслей у него в голове… Спасибо, Амалия, если б так, если бы впрямь было столько мыслей в голове. Да ведь моя беда, что все мои мысли упорхнули, выпорхнули, не попрощались, мне теперь единое дело, что одна смоковница, что полдюжины.

– А виноград тоже есть? – спросил я, в основном чтобы проявить, сколь я активен и памятлив.

– Да что ж с того винограда, там пока что такие манюсенькие гроздочки, хотя весна ранняя была и такое жарево всякий день, что все до времени, гляди, созреет. И дай-то бог

нам дождя. Виноград, он к сентябрю поспеет, что ж, так синьорино дождется тут у нас в деревне первого сбора! И позабудет все хворобы! Госпожа Паола говорила, что вам теперь нужен уход и нужна хорошая готовка, свеженькое все, деревенское. Я тут приготовлю вам такой ужин, какого вы со старых пор не едали, – салат с помидорной подливкой и с олеем, с сельдереем кусочками и с натертым луком, и со всеми правильными травами. Еще есть хлеб, тот самый, который вам всегда нравился, есть деревенский каравай с такой толстой коркой, чтобы ею собирать сок. Куренок собственный, рощеный, не из магазина, известное дело, чем магазинных выкармливают, или можно еще кролика с розмарином. Кролика? Ладно, пойду стукану по затылку самого крупного. Отжил, значит, он свое, ну что поделаешь, так уж водится. А что ж такое, что ж Николетта заторопилась? Как, сразу в город? Беда мне с вами. Ну ладно, ладно. Мы останемся вдвоем, синьорино пусть занимается чем его душеньке угодно, от меня помехи не будет. Он меня будет видеть только утром, с утра я стану приносить молоко с кофе, да еще готовить обеды и ужины. А остальное время синьорино пусть себе ходит где вздумается и делает что надо.

– Имей в виду, милый папа, – сказала Николетта, запихивая в машину то, за чем она приезжала, – Солара отсюда вроде бы далеко, но там за домом есть такая тропинка, которая с горы ведет прямиком в городок, она крутая, но в ней вырублены ступеньки, а кроме того, довольно скоро она пе-

реходит в прямую ровную дорогу. Путь в городок занимает четверть часа, обратно, с учетом подъема, двадцать минут, ты всегда говорил, что против холестерина – лучшее средство. В ларьке продают газеты, там же можно купить сигарет, можешь просить сходить Амалию, она туда наведывается в восемь утра практически ежедневно – по собственным делам и на мессу. Но ты ей пиши на бумажке, какую газету тебе покупать и за какое число, а то, дай только Амалии волю, она станет тебе каждый день таскать одну и ту же программу телепередач на текущую неделю. Другого тебе ничего не надо? Ты уверен? Я бы с тобой побыла, но мама считает, что необходимо тебе остаться наедине со старыми вещами.

Николетта уехала, Амалия показала мне мою с Паолой спальню (там пахло лавандой). Разложив привезенные вещи, я переоделся в самую удобную одежду, какую удалось найти, в расшлепанные ботинки, которым было лет двадцать, – теперь я смотрелся бирюком, – и полчаса простоял у окна, разглядывая горы в той стороне, где находился массив Ланг.

На столе в кухне лежала газета времен Рождества (в последний раз мы приезжали с девочками на праздники). Я углубился в чтение, налив себе стаканчик муската из бутылки, торчавшей в ведре с ледяной колодезной водой. В конце ноября Организация Объединенных Наций одобрила проект применения силы для освобождения Кувейта от иракцев, в

Саудовскую Аравию перебрасывались первые американские части, речь шла о последних попытках переговоров представителей Соединенных Штатов Америки с министрами Саддама, с целью добиться вывода иракских войск. Эта газета была полезна для реконструкции недавних событий, и я читал ее, как читают выпуски последних новостей.

Внезапно я вспомнил, что этим утром, готовясь к отъезду, во власти сборов и суматохи, не имел стула. Я направился в уборную – идеальнейшее место для чтения статьи, вдобавок можно и посматривать через окошко на дальний виноградник. И вдруг у меня родилась мысль, скажем даже желание, древнее, дремучее, справить большую нужду на свежем воздухе. Я затолкал в карман газету и толкнул ладонью, сам не поняв, случайно ли или по велению природного компаса, дверь на задворки. Прошел через огород; тот выглядел очень ухоженным. У хозяйственного флигеля за деревянными заборчиками слышались квохтанье, пыхтенье и хрюки. В дальнем конце огорода начиналась тропинка, подъем на виноградник.

Амалия знала, что говорила: листья на лозах были еще мелковатые, виноградины – со смородину. И все же это был виноградник, сквозь изношенную подметку стопа воспринимала глыбистость почвы, между шпалерами, на разделительных дорожках, вихрами топорщилась трава. Как-то интуитивно я обвел глазами округу в поисках персиковых деревьев, но не нашел их. Странно, я вроде в каком-то романе

вычитал это, что между бороздами – но только нужно ходить там босыми ногами, чуть замозолевшею стопой, по привычке с самых малых лет – встречаются персиковые деревья. Эти желтые персики, которые растут только между лозами, трескаются при нажатии пальцем, и косточка сама вылетает с присвистом, чистейшая, как после химической обработки, не считая толстеньких белых червячков мякоти, держащихся на каком-то атоме. Ты можешь есть эти плоды, почти не ощущая бархатистости кожи, от которой обычно пробирает дрожь от языка до самого паха.

Я присел между шпалерами, в грандиозной полуденной тишине, пронизанной птичьими криками и стрекотанием цикад, и испражнился в траву.

Silly season – мертвый сезон, нет новостей. Он читал, покойно сидя над собственной парною вонью. Человеческим существам приятен запах собственного помета, неприятен запах чужого. Собственный же, как ни крути, – это составляющая часть нашего суммарного тела.

Я испытывал первобытное удовлетворение. Спокойное разжатие сфинктера в этой зеленой роще будило в моей прапамяти неявные, исконные ощущения. А может, только животный инстинкт? Во мне столь мало персонального, столь много видового (владею памятью человечества, не своей собственной), что, может быть, я попросту наслаждаюсь тем же самым, чем наслаждался неандерталец? У него накопленной памяти было, поди, еще меньше, чем у меня. Неан-

дерталец не знал даже, кто такой Наполеон.

Когда я кончил свое дело, мелькнула мысль – вытереться листьями, нечто само собой разумеющееся, неоспоримый автоматизм – не в энциклопедии же я это вычитал! Но у меня была газета, я выдрал из нее для этой цели телепрограмму (поскольку все равно в Соларе никакого телевизора не было).

Поднявшись на ноги, я посмотрел на свой кал. Превосходная улиткоподобная архитектура. Все еще дымится. Борромини. Видимо, пищеварение у меня в полном порядке, учитывая, что беспокоиться начинают только при виде чересчур мягкого или вообще разжиженного стула.

Я впервые видел свой экскремент (городской унитаз этому не способствует – встаешь с него и не глядя жмешь на кнопку). Экскременты – самые личные и сокровенные наши достояния. Прочие аспекты доступны посторонним людям. Публичнее всего, конечно, лицо, глаза и мимика. Но даже и обнаженное тело в некоторых случаях становится объектом демонстрации – на пляже, у врача, у любовницы. Да если хорошо подумать, даже и мысли не сокровенны, мыслями мы делимся с другими людьми, и нередко другие люди угадывают наши мысли по взглядам или гримасам. Есть, конечно, совсем потаенные мысли… скажем, мысль о Сибилле – но и ею я поделился с другом Джанни, да и сама Сибилла, как знать, может, догадалась о чем-то таком – не оттого ли заторопилась замуж? В общем, что касается мыслей – не всегда

и не все мысли скрыты от мира.

А экскременты – это тайна. Только в начале, в ранний и краткий период жизни, нас перепеленывает мать. А впоследствии наши извержения – это самое непубличное. И поскольку нынешнее мое извержение вряд ли существенно отличалось от обычно мной извергаемого, акт дефекации роднил меня со «мною же самим» незапамятных времен, это был первый опыт, непосредственно увязанный с давними пра опытами и, конечно, с тем ребенком, которым был я и который в давние времена, не сомневаюсь, присаживался по нужде в этом самом винограднике.

Эх, найти б следы моих ребяческих присаживаний, метки территории – и, выстроив по ним условный треугольник, откопать бы клад коровы Кларабеллы.

Откопать бы клад… Клад не давался, не шел мне в руки. Мой помет явно не тянул на липовый отвар, и хотелось бы, кстати, знать – какой поиск утраченного времени начинается с анального выхлопа? Утраченное время мается астмой, а не поносом. Астма – духновение (пусть и натужное), наитие духа. Люди состоятельные тужат в пробковых комнатах. Люди неимущие тужатся на свежем воздухе.

Затесавшись в неимущие, я не страдал, а радовался. Радовался, пожалуй, впервые в этой новой жизни. Неисповедимы пути господни, сказал я, воистину! Порою они проходят, кто б мог подумать, через задний проход.

День кончился так. Я послонялся по помещениям лево-

го флигеля, дошел до комнаты, которая, по всему судя, была отведена моим внукам (спальня с тремя кроватями, медведями и трехколесными велосипедами у стен). В спальне на тумбочке было несколько свежих книг, ничего особенно привлекательного. В старую часть дома я не совался. Всему свое время. Обживусь-ка сначала в обитаемой части.

Я поужинал в кухне у Амалии, среди старых ларей. Столы и стулья стояли там со времен ее родителей, и сильно чувствовался запах чеснока от связок, свисавших с балок. Кролик был неописуемый, ну а салат стоил целого этого путешествия. Я напитывал хлеб аловатым салатным соком с кругляками олея. Это было счастье, но счастье открытия, а не узнавания. Вкусовые рецепторы не оказали мне никакой помощи, да, впрочем, я ее от них и не ждал. Я пил много вина: деревенское вино в тех краях превосходит все французские вина, взятые вместе.

Я перезнакомился со всеми тварями в доме: облезлый старый Пиппо, отличный сторожевой пес, по заверениям Амалии, хотя на первый взгляд и не внушающий доверия – старый, кривой на один глаз, и, кажется, он вдобавок ко всему уже выжил из ума. Кроме пса, три кота. Два шелудивых и злобных, третий похожий на ангорца, черный, густошерстый, мягкий на ощупь. Этот умел просить еду довольно изящно, трогая лапкой меня за брюки и привлекательно помуркивая. Мне симпатичны все животные, теоретически (я ведь вхожу в общество против вивисекции?), но инстинктив-

ной приязнью управлять никто из нас не властен. Я возлюбил третьего кота и дал ему самые лучшие кусочки. Я спросил у Амалии, как зовут какого кота, и получил ответ, что котов не зовут никак, потому что коты – не христиане, не то что собаки. Я спросил, можно ли звать черного кота Мату, она ответила, что можно, если меня не устраивает нормальное «кис-кис», но у Амалии был такой вид, что ясно читалось: у всех этих городских, даже у синьорино Ямбо, в голове тараканы.

Кстати о тараканах, с улицы неслись распевки насекомых, они зудели из сада довольно настырно, и я пошел на двор их послушать. Я задрал голову к небу, ожидая увидеть уже знаемое. Созвездия ведь одинаковы и на небе, и в любом атласе. Я узнал Большую Медведицу, но опять же – угадал по описанию. Стоило ехать в деревню, чтоб уверяться: энциклопедии всегда правы. *Redi in interiorem hominem* — найдешь Ларусс.

Я повторил себе: Ямбо, твоя память создана из бумаги. Не из нейронов, а из печатных листов. Может, придумают какую-нибудь чертовщину, чтобы компьютер прочитывал все тексты, какие только были написаны от основания мира до сегодня. Все предадутся перелистыванию, все будут жить, нажимая на клавиши, и опять же нажимая на клавиши, и перестанут сознавать, где они сами, кто они суть, – и у всех людей на свете образуется такая память, как сейчас у тебя.

Ожидая, покуда мир переполнится равными мне страдальцами, я отправился почивать.

Только я задремал, как вдруг откуда-то кто-то явственно позвал меня. Кто-то подзывал меня к подоконнику, гугукал настойчиво – «эй! эй!». Кто же это мог быть, кто это, цепляясь за ставни, лез на мое окно? Я рывком откинул засов, двинул ставню – и увидел, как улепетывает белая тень. Следующим утром Амалия пояснила – это был простой сыч. В нежилых зданиях совы и сычи поселяются на карнизах и в водосточных желобах, но как только туда въезжают люди, совы меняют квартиры. А даже жалко. Совушка чуть было не вызвала во мне то самое, что мы с Паолой определили как «таинственное пламя». Ухающий лунь или кто-то из его сородичей, безусловно, принадлежал мне, был частью меня, это они будили меня по ночам, улетали от меня в темноту, эти нескладные, неповоротливые привидения, дурандасы. Дурандасы? *Ciulandari?* Это слово я не мог вычитать в энциклопедии! Это слово – подарок мне от внутреннего человека. Или из детства.

Спал я неспокойно. Пробуждение сопровождалось сильной болью за грудиной. Первым делом я подумал об инфаркте – знаю, что инфаркты начинаются именно такой болью. Я поднялся и без размышлений взялся за пакет с лекарствами, сложенный в дорогу Паолой. Нашарил «Маалокс». «Маалокс» – от гастрита. Приступ гастрита бывает, если наелся чего-то неположенного. Я же наелся положенного, однако сожрал слишком много. Говорила ведь Паола, надо сдержи-

вать себя. Пока она была рядом, она меня сторожила, теперь надо научиться сторожить себя самому. От Амалии моральной поддержки ожидать бесполезно, по крестьянской философии еды слишком много не бывает, потому что еды бывает только слишком мало.

Учиться мне еще и учиться.

Глава 6
Новый дополненный словарь Melzi

Побывал и в городке. Обратно влезать по косогору было непросто, однако прогулка показалась мне прелестной и бодрящей. Удачно, что я запасся в Милане несколькими блоками «Житан», в этой деревне продают только «Мальборо лайт». Дикие люди.

Рассказал Амалии про сыча и что я спервоначалу принял его за призрак. Она отреагировала с комичной серьезностью:

– Сычи, на них не грешите. Дурных дел сычи не творят. Не то что *masche,* которые водятся в тех краях, – она махнула в сторону Ланг, – они и до сих пор там живут. *Masche,* кромешницы. То есть как кто это? Даже рассказывать боязно. А то вы сами не помните, ведь сколько раз толковал вам о кромешницах мой покойный папаша. Но вы не тревожьтесь, к вам, в ваш дом, кромешницам хода нету. Они по ночам пугают простой народ. Господам-то что, те, поди, знают слово, скажут слово кромешнице, и та скачет прочь, только пятки блестят. А все ж они безугомонные и по ночам прибиваются к простым людям, а особо любят туманные и сырые ночи, это для них самая сласть.

Больше она не распространялась на эту тему, но, поскольку был упомянут туман, я спросил, часты ли здесь туманы.

– Туманы? Исусмария, сколько их тут, густющие. Как вот

выйдешь, от моей двери не углядеть дорожку, не углядеть ваш флигель, а когда в вашем флигеле живет кто-то, то вечерами тоже бывает, что даже и свет из окна не виднеется или трепещется как лучинка. А бывает, что туман до нас тут не поднимается, но сколько его на тех взгорьях, вы бы видели. Только редко-редко торчит по верхам где курган, где часовенка, а внизу бело, и сзади бело, и вокруг во все стороны непроглядная мга. Будто молоком заливают весь околоток с небес. Коли добудете тут у нас до сентября, вдоволь насмотритесь, потому что у нас в округе, кроме только летних трех месяцев, туман лежит безвыводно. Тут в деревне, внизу, один такой Сальваторе, он не здешний, с какого-то, поди разбери, моря, может, из Неаполя, ну так вот, он приехал сюда батрачить, тому уж наверно двадцать лет, от нищеты прибег сюда, от голода, ну так я про него, что никак не освоится, за двадцать лет не обвык, все говорит, у них там светло и на Крещенье и на Сретенье. Помню, сколько он блукал у нас по полю и даже в ручей уж падал, вытащили, и по ночам ходили разыскивали, спасали его с фонарем. Э, они люди неплохие, врать не стану, а все ж они не такие, как мы.

Я читал про себя:

E guardai nella valle: era sparito
tutto! sommerso! Era un gran mare piano,
grigio, senz'onde, senza lidi, unito.
E c'era appena, qua e là lo strano
vocìo di gridi piccoli e selvaggi:

uccelli spersi per quel mondo vano.
E alto, in cielo, scheletri di faggi,
come sospesi, e sogni di rovine
e di silenziosi eremitaggi.

В долине все волшебно изменилось
в единый час! Как будто море вдруг,
побившись в скалы, глянь – угомонилось.
И ничего не слышно – только звук
летучих птичек, незаметных, скромных,
заполнивших собою мир вокруг.
А в небесах скелеты буков томных
как будто бы висят среди руин
скитов молчащих, пустыней укромных.

Как бы то ни было, на данный момент все пустыни и скиты укромные, которые мне доведется повстречать на одинокой дороге, озаряются ярчайшим солнцем – но от этого видимость все равно не лучше, ибо туман копится внутри меня. Не поискать ли истины в затененном мире? Решено. Час настал. Дай наведаюсь в старые комнаты.

Я сказал Амалии, что хочу войти один. Она только подбородком дернула и протянула ключи. Похоже на то, что комнат там уйма и каждая на запоре, потому что Амалия опасается, как бы не залезли. Поэтому она преподнесла мне неохватную связку больших и маленьких ключей, всем своим видом показывая, что ей-то известно, какой ключ от каких дверей, но если я упираюсь и хочу идти наобум, то воль-

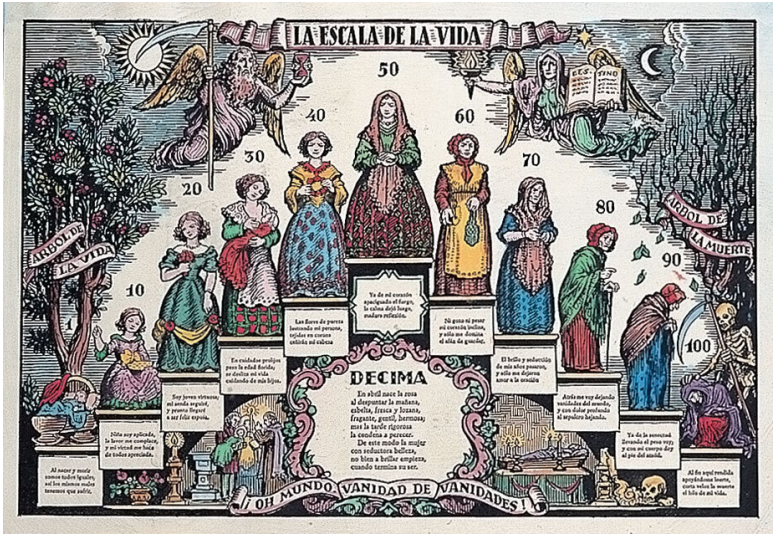
ному воля, придется мне копошиться у каждой двери по часу. Подразумевалось: «Ну-ну, попотей же себе на здоровье, коли тебе охота капризничать, как малому дитю».

Утром, по-видимому, Амалия уже успела побывать здесь. Накануне я рассматривал окна снаружи – ставни были замкнуты, а сегодня оказались притворенными, свет через щели просачивался и в коридоры, и в каждую комнату, так что было видно по крайней мере, куда идешь. Амалия, конечно, проветривала время от времени, но воздух все равно был спертый. Не то чтобы совсем удушливый, а так – с затхлостью дерева от древних комодов, с трухой от старых потолочных балок, с лежалостью белых чехлов, окутывающих кресла (не средь таких ли чехлов угасал Ленин?).

Не станем описывать скрип скважин, двадцатикратное опробование ключей, я выглядел неотличимо от старшего дежурного по Алькатрасу. От входа лестница вела в просторные хоромы, что-то вроде парадной приемной, ленинские кресла и какие-то кошмарные пейзажи на стенах, девятнадцатый век, в добротных мясистых рамах. Вкусы дедушки я еще не вполне уяснил, но Паола говорила, что дед был собирателем диковин. Ежели так, эта кошмарная пачкотня не могла быть в дедовом вкусе. Следовательно, картины являлись тяжеловесным семейным наследием – может, прапрапрадед баловался живописью? Благодаря полутьме то, что свисало с карнизов, различалось слабо и нечетко, картины

просто ограничивали собою пространство, так что в общем и целом выходило не трагично.

В этой зале с одной стороны имелась балконная дверь (на единственный балкон фасада), а в противоположной стене были двери в симметричные коридоры, правый и левый, которые тянулись по тылу дома и сплошь были увешаны старыми раскрашенными эстампами. В правом коридоре – бессчетные картинки *Imagerie d'Epinal:* исторические события, «Штурм Александрии», «Осада и обстрел Парижа частями прусской армии», «Грозовые дни Французской революции», «Взятие Пекина войсками союзников». Другие офорты были испанские. Мелкие уродцы – *Los Orrelis,* обезьяны-музыканты – *Colección de monos filarmonicos,* мир навыворот – *Mundo al revés.* Две аллегорические пирамиды «Жизнь человека», одна про мужчин, другая про женщин, колыбель и дитя в помочах на первой слева ступеньке, затем поэтапный подъем до возраста апофеоза, с цветущими красавцами на самом верху олимпийского пьедестала, оттуда вправо – медленный сход стареющих, все более сгорбленных фигур вплоть до последней правой ступеньки, где, как предсказывала Сфинга, помещаются трехногие – на подламывающихся хромульках и с посохами – подле ожидающей своего часочка Смерти.



Первая дверь из коридора вела в большую старорежимную кухню, с толстенной печью и с огромным очагом, а над очагом висел громадный медный казан. Вся утварь невозможно описать до чего стара – должно быть, висит здесь со времен дедушкиного двоюродного деда. Успела стать антиквариатом. За стеклами буфета виднелись цветастые тарелки, железные кувшины, чашки для кофе с молоком. Какой-то инстинкт велел мне поискать глазами: а где журнальная полка? И точно, в углу около окна была приколочена журнальная полочка с выжженным и раскрашенным орнаментом – крупные красные маки на желтом фоне. Поскольку

в войну конечно же был дефицит угля и дров, я думаю, кухня была единственным отапливаемым помещением, и, значит, мною было проведено здесь множество зимних вечеров.

За кухней ванная, тоже старорежимная, посередине громадная железная ванна с изогнутыми клювами – крантиками. Умывальник, в точности чаша из церкви, чаша, полная святой воды. Я крутнул кран, за каскадом рыданий и чихов вытекла рыжая струя, посветлевшая только на третьей минуте. Унитаз и бачок живо напомнили мне туалеты в купальных заведениях времен «бель эпок».

После ванной имелась еще одна дверь – в негусто меблированную комнату с зеленой кроваткой, зеленым столиком, с аппликациями-бабочками, на подушке сидела тряпичная кукла Ленчи, жеманная и надутая, какой и положено быть кукле тридцатых годов. Естественно, это спальня моей сестры, о чем свидетельствовали и какие-то старые платьица в шифоньере, но похоже было, что большинство вещей из этой комнаты вынесли и закрыли ее на хороший замок. Запах только сырости, затхловатости.

После комнаты Ады коридор утыкался в мощный шкаф. В шкафу царил всепроникающий камфорный дух и хранились парадные простыни, с вышивками и мережками, одеяла и стеганые покрывала для семейных одров.

Я вернулся по коридору в центральную залу, проскочил сквозь нее в левый флигель. Тут по стенам висели немецкие эстампы поразительно четких линий, серия «История

костюмов»: милые женщины с Борнео и обворожительные яванки, китайские мандарины, хорваты из Шибеника с чубуками невероятной длины и с длиннейшими усами, неаполитанские рыбаки, римские разбойники с пистолями, испанцы из Сеговии и Аликанте, а также исторические персонажи – византийские императоры, папы и рыцари европейского Средневековья, тамплиеры, феодалы и их дамы, евреи-купцы, мушкетеры его величества короля, уланы и гренадеры наполеоновской армии. Немец-гравер изобразил всех своих героев в самых праздничных одеяниях, поэтому не только властители были обвешаны украшениями и вооружены пистолями с изузоренными рукоятками, парадными саблями, и красовались в лучших парчовых епанчах, но даже самый нищий африканец и самый оборванный лаццароне щеголяли яркими кушаками по бедрам, дивными плащами, шляпами с перьями и красочными тюрбанами.

Наверное, еще до приключенческих книг я начал упиваться многоцветьем племен и народностей мира, видя эти гравюры, обрамленные по кромке полей, выцветшие после многих десятилетий на свету, явившие моим очам чистый образец творенья. «Расы и народности земного шара», – повторил я вслух, и внезапно в моем воображении замаячила мохнатая *vulva*. К чему бы это?

Первая дверь вела в столовую, в конце столовой был выход в уже виденную мной прихожую. Два поддельных под пятнадцатый век буфета с дверками о разноцветных стек-

лышках, кругленьких и ромбовидных, массивные гнутые табуреты «Савонарола». Антураж «Ужина шуток». Еще и кованый железный фонарь, низко свешивающийся над громадной столешницей. Я бормотнул «каплун и королевские рожки» *(cappone con pasta reale),* сам не понимая с чего. Впоследствии я задал этот вопрос Амалии: что это мне как будто помнится каплун с королевскими рожками? Какие «рожки»? Амалия мне все объяснила. Рождественские обеды обязательно включают в себя каплуна с острым и сладким фруктово-горчичным соусом «мостарда», а на первое положено варить бульон из того же каплуна с рожками – то есть с засыпкой из теста, из яичного теста, желтенькие макаронинки, так и тают во рту.

– Нет другого такого лакомства, просто грех, что рожки никто не готовит теперь, королевские рожки, знамо дело, ни рожков не едим, ни короля не чтем, прогнали короля, бедолагу, дали бы мне поговорить с этим дуче, я ему пару слов сказала бы о королях и о рожках!

– Амалия, дуче больше нет, это знают даже те, кто лишился напрочь всей памяти.

– Я в политике не разбираюсь, но помню, что однажды дуче уже прогоняли, а он ништо, все равно назад вернулся. Так что и нынче, послушайте вы меня, он где-то сидит и выжидает. Увидите, когда-нибудь… Да ладно. Вот старый барин, ваш покойный дед, землица ему пухом, каплуна с рожками умел нахваливать, без каплуна с рожками ни одного Рожде-

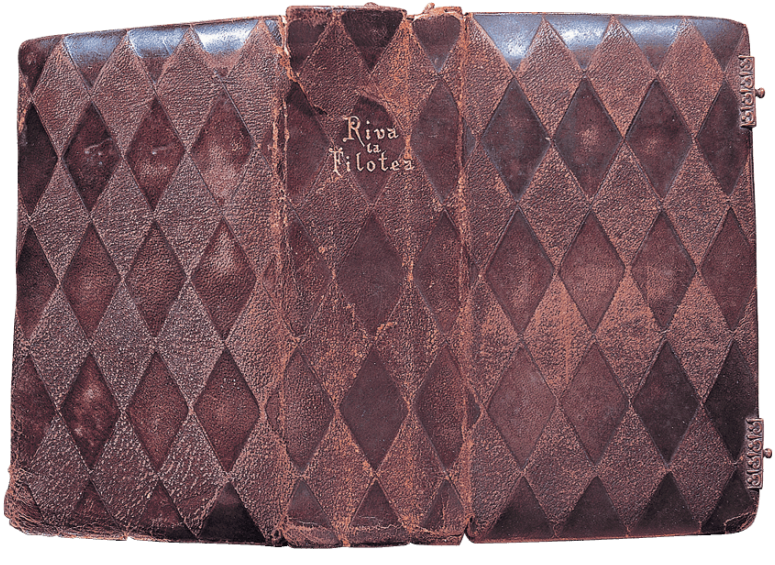
ства при вашем покойном дедушке мы не праздновали.

Каплун и королевские рожки. Значит, я припомнил их в связи с формой столешницы, в связи с низкой лампой, освещавшей трапезу в последние дни декабря? Мне был неведом вкус этих самых рожков, но я припомнил имя. Как будто в игре в «переходы слов». Дается слово, надо из него сделать другое, меняя по одной букве: из моря – гору, то есть море, горе, гора. И выплыли у меня в памяти этот каплун и рожки, как гога и магога.

Вот еще дверь куда-то. Спальня, двуспальная кровать, я инстинктивно замер на пороге этой спальни, будто перед запретной зоной. Силуэты мебели казались огромными в полусумраке, кровать под балдахином возвышалась как алтарь. Может, это спальня моего дедушки, куда соваться нам было запрещено? Где дедушка впоследствии и умер на этой самой кровати, сраженный горем? А где же был я? Попрощался ли я с дедушкой на пороге его смерти?

Дальше еще одна спальня. Но там мебель была совершенно непонятно какой эпохи, вся без углов, из сплошных гнутых линий, псевдобарокко-рококо, и такими же причудливыми были очертания боковых дверец большого зеркального шкафа и комода. Спазм перехватил дыхание, точно так же, как тогда в больнице, когда мне показали фото родителей в день их свадьбы. О, таинственное пламя. Помню, я взялся описывать это ощущение доктору Гратароло, а тот спросил,

то ли же это самое, что экстрасистолы. «Наверно, да… – ответил я, – но какой-то горячий спазм при этом охватывает горло». – «Ну тогда нет, потому что, – сказал в ответ профессор Гратароло, – экстрасистолы это совсем другое дело».



Затем я увидел книжку, маленькую, в коричневом переплете, на мраморе правой тумбочки, и подошел взять ее в руки, промычав что-то наподобие *riva la filotea.* Это на пьемонтском диалекте значит «едет сюда филофея»? Какая-то фея, что ли? Какая-то тайна, и вроде эта тайна томила и мучила меня многие годы, звуча как вопрос на пьемонтском

диалекте «Кто, кто едет?» *(Sa ca l'è c'la riva?).*

Как, разве я на диалекте разговаривал тогда? Какую это фею, кто мне эту фею обещал? Какую филофею?

Я распахнул книгу – так взламывают в безумном порыве священные печати на скрижалях, – книга называлась «Филофея» (*La Filotea,* то есть «Боголюбие») и была произведением миланского священника Джузеппе Рива (1888). Это был сборник молитв и текстов для духовных упражнений, с календарем церковных праздников и с краткими святцами. Страницы вываливались, листы ломались от самого легкого прикосновения. Я благоговейно уложил страницы и выровнял крышки (как-никак это мое ремесло – приводить в порядок старые книги) и тут увидел на корешке бурый квадрат с золототиснеными буквами *Riva La Filotea.* Это был чей-то личный молитвенник, который я, видимо, в детстве открывать не решался, а фраза на толстом корешке поддавалась двоякой интерпретации, вот я и понимал ее по-детски, воображая какую-то фею, которая все едет, едет и никак не доедет до нашего дома, не доедет ко мне в гости.

Потом я оглядел комнату – на выгнутых боковинах комода были две створки. Я подкрался к правой створке с биением сердца и потянул на себя, озираясь воровато, как будто страшась быть застигнутым врасплох. Внутри три полочки, опять же кокетливо выгнутые и совершенно пустые. Я волновался, будто что-то воровал. Может, действительно я переживал детское ощущение, к воровству близкое, когда лазил

по комодам и шкафам, куда мне вообще-то доступа не было, и любопытство было окрашено греховностью? Да, этим чувством, будто при следственном эксперименте, подтвердилась моя интуитивная догадка, и теперь уже я мог быть совершенно уверен, что спальня принадлежала моим родителям, «Филофея» была маминым молитвенником, а в боковых отсеках комода мне в детстве приводилось нашаривать невесть что запретное – не знаю уж, что там лежало, старые письма, мелкие деньги или такие фотографии, которым не было места в официальных семейных альбомах…

Но если это действительно была их спальня, а Паола говорила, что я родился здесь, в деревенском доме, то, значит, я появился на свет на этой кровати? Что человек не помнит помещение, где он родился, это нормально. Но если учесть, что мне, должно быть, многократно показывали эту затененную комнату со словами: вот, гляди, в этой комнате, на этой кровати, ты был рожден, – если учесть, что я, безусловно, прибегал сюда по ночам и вныривал в постель родителей, где, вероятно, уже отлученный от груди, множество раз втягивал ноздрями запах груди, которая меня вскормила… Ну ведь хоть слабый какой-нибудь намек на воспоминание должен же забрезжить в этой проклятой черепушке! Ишь, размечтался… Мое тело хранило память о доведенных до автоматизма действиях. Коротко говоря, я сумел бы воспроизвести сосательное движение, припав к молочной железе, но тем бы дело и кончилось, я не смог бы сказать, к чьей груди

приникаю и что за вкус у этого молока.

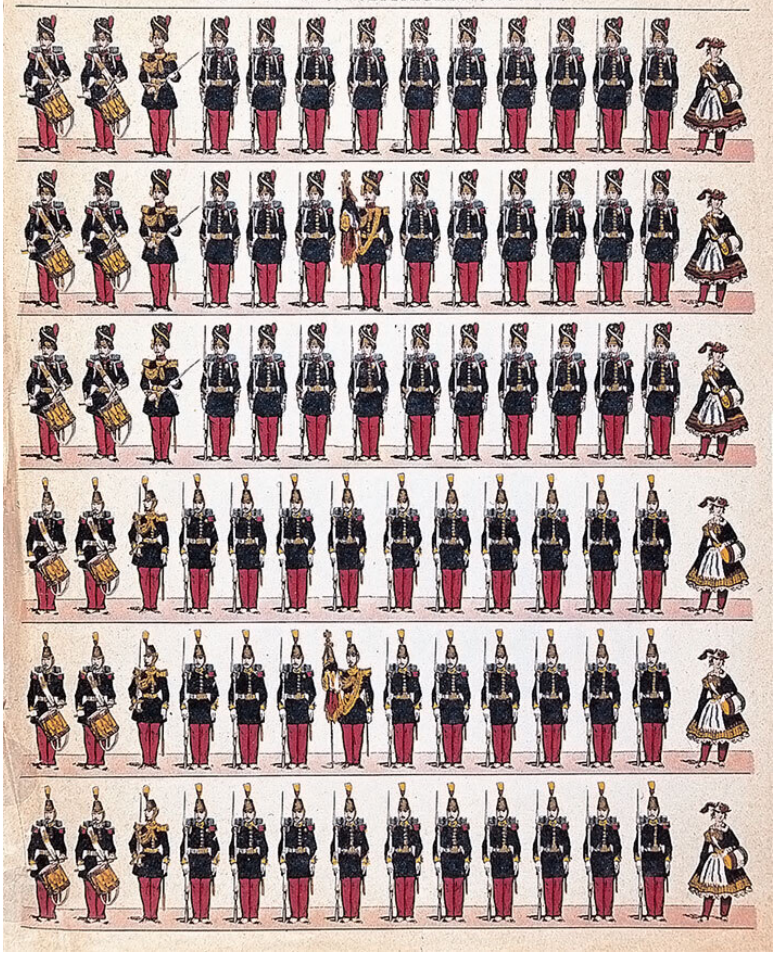
Стоило ли рождаться, чтобы потом не помнить? Да и, технически выражаясь, был ли я действительно рожден? О рождении, как и обо всем прочем, проинформировали меня окружающие. А по моим собственным понятиям, я сотворился как личность в конце апреля нынешнего года, в возрасте шестидесяти лет, на больничной койке.

Il signor Pipino nato vecchio e morto bambino. Синьор Пиппати, родился старцем, помер дитятей. Как это? Синьора Пиппати нашли в капусте шестидесятилетним и с длинной белой бородой, дальше идут все его приключения, день ото дня Пиппати молодеет, доходит до юношеского возраста, потом он младенец и наконец переходит в мир иной, испуская свой первый (или последний) младенческий крик. Я эту считалку помню с детских лет… Стоп, ничего подобного, ведь все, что касается детских лет, мне полагалось забыть. Я, скорее всего, нашел этот стихотворный текст как предмет разбора во взрослой книге о мотивной структуре произведений для детей. Разве я не тот, кому известно все о детстве крошки Доррит и ничего – о собственном младенчестве?

Как бы то ни было, я был намерен повоевать за свою автобио в глубинах этих коридоров и довоеваться до того, чтоб перед смертью все-таки узнать, каково было мне младенцем видеть склоненное над кроваткой лицо моей мамы. Ой, а что, если в результате, испуская дух, я сподоблюсь узреть мордатую и усатую акушерку, суровую, как завуч на педсовете?

В конце коридора под окном стоял сундук, но коридор не кончался, за сундуком находились двери – одна в торце и другая налево. Торцовая вела в просторный кабинет, призрачный, голый. На большой письменный стол красного дерева и на зеленую настольную лампу в стиле «государственная библиотека» падал прямой свет сквозь два окна с цветными стеклами, через которые было видно зады левого флигеля, то есть наиболее тихую и укромную сторону дома, и еще – чудесный пейзаж. Между окнами в простенке висел в раме пожилой седоусый джентльмен в напряженной позе, принятой по требованию поселкового Надара. Фото, разумеется, не могло появиться там раньше смерти моего деда, ибо нормальный человек не держит собственных портретов перед носом. Не могли повесить его и мама с папой, поскольку дедушка умер не раньше их, а позже, как раз-таки от горя. Так что портрет велели там водрузить дядя с теткой, да, это всего вероятнее: распродав часть имущества, городскую квартиру и большинство земельных наделов, они устроили здесь мемориальный дом-музей. Абсолютно ничто не походило на живое, обитаемое помещение. Голизна, отрешенность. Только еще какие-то *Images d'Epinal* на стене: солдатики в алых и темно-синих мундирах, вылинявших до голубизны и розовости, пехота, кирасиры, драгуны и зуавы.

GRENADIERS et VOLTIGEURS. (Nouvelle tenue.)



Я был совершенно ошарашен видом шкафов: по стенам кабинета тянулись пустые полки красного дерева. На каждой полке красовалось книги две или три, «художественно» расположенных, – обычная мещанская манера профессиональных декораторов: штришок с намеком на культуру, остальное пространство, согласно общепринятому шаблону, отводится под вазы Лалика, африканские маски, серебряные блюда и хрустальные шары. Хотя даже и подобной мишуры здесь не было. Только солидные атласы, французские глянцевые журналы, а также энциклопедический словарь Мельци *(Nuovissimo Melzi)* выпуска 1905 года и французские, английские, испанские и немецкие словари. Но не могло же быть, чтобы книжник и коллекционер дед сидел с такими пустыми полками. Конечно, не могло: кстати, в посеребренной рамочке на пустом стеллаже обнаружилось еще одно фото деда, снятое в этой самой комнате от окна, за письменным столом. На фото дед имел несколько встрепанный вид, он был без пиджака, в жилете, и еле-еле высовывался из-за громадных кип бумаг, придавивших собою стол. Тянувшиеся за дедом по стенам стеллажи были забиты до отказа книгами и стопками журналов – живописнейшее нагромождение. По углам комнаты на полу возвышались другие шаткие стопки, по всей видимости, книг и журналов вперемешку, и еще с картонными коробами в придачу, явно набитыми бумажным хламом, который упихивали в эти короба, чтобы не выбрасывать прямо сразу. Вот-вот, точно таким должен был быть

кабинет покойного деда, когда еще дед не был покойным, истинный склад спасителя разнообразнейшей печатной продукции, которую другие вышвырнули бы в помойку, истинный призрачный корабль, перевозящий тени документов по волнам океанов и морей, потерянный рай, копи, настоящий любитель найдет где порыться – в каждой связке, во всех разваливающихся ворохах. Куда же делись эти сокровища? Почтительно относящиеся к порядку в доме вандалы, конечно, извели все то, чем порядок нарушался. Долой бумажки. Все выбросить, продать первому старьевщику. Уж не после ли той бесповоротной уборки у меня душа не лежала к этим местам и я начал вытеснять из своей жизни Солару? Я ведь, поди, именно здесь год за годом проводил свое детство с дедом, пожирая книгу за книгой и делая открытие за открытием?

Значит, они последнюю возможность ухватить за хвост мое прошлое – и ту зажилили?!

Выйдя из кабинета, я побрел в комнату слева, меньшего размера и обставленную поживее. Мебель там была светлого дерева, сколоченная, предполагаю, деревенским плотником, для мальчишки как раз что надо. Там стояла кровать в углу и пустые этажерки, да еще одно-единственное собрание сочинений в красном ледерине. Что-то наподобие школьной парты, в центре парты черная кожаная вставка, и еще одна библиотечная лампа и изодранный Кампанини Карбони – латинско-итальянский. На стене афиша старого фильма… ой, вот

опять в душе порхнуло таинственное пламечко. *Как на лету! Та к славно в воздухе и так легко!* – пропел я почти чужим голосом. Да, на афише действительно было написано «Как на лету» – *Vorrei volare,* с Джорджем Формби, о, его лошадиная улыбка и его укулеле, я снова увидел, как Джордж Формби влетает в овин на взбесившемся мотоцикле, пропарывает сено насквозь под квохтание ошалевших куриц, а полковнику, сидящему в коляске, в руку влетает яйцо, не иначе к христову дню, дорого яичко, – а Джордж Формби на допотопном аэроплане, в котором оказался по ошибке, заваливается в штопор, кое-как снова набирает высоту, закладывает вираж, переходящий в пикирование, со смеху помереть, помереть можно со смеху.

– Я три раза посмотрел подряд, три раза! – завопил я. – Самая комичная на свете фильма. – Я произнес «фильма», в женском роде, видимо, так говаривали в старые времена, по крайней мере у нас в деревне.

VORREI VOLARE

(IT'S IN THE AIR)

dal film omonimo

Musica di

Harry Parr Davies

Testo Italiano di

TEMANZAGA

Per l'Italia, Impero e Colonie

CARISCH S. A. - MILANO

1940 - XVIII

Безусловно, это была моя комната, в ней я и спал, и занимался, но, кроме нескольких дорогих мне символов, все остальное было голо, походило на комнату знаменитого поэта в доме-музее, куда приходят по билетам и оказываются в пространстве, оборудованном специально, чтоб там витал аромат бессмертия. Здесь были созданы «Осенняя песнь», «Фермопильская ода», «Умирающий гондольер». Где же сам великий человек? Он, увы, нас покинул. Он исчах от туберкулеза в двадцать три года, именно здесь, на этой постели, гляньте на распахнутые фортепьяны, кто последний дотрагивался до этих клавиш? В наипоследний день, перед тем как испустить дух? На центральном «ля» заметно еще пятнышко крови, капнувшей с его омертвелых уст, когда он играл «Кровавый прелюд». Эта комната – свидетель краткосрочного земного века, тут он, склонясь над многострадальными черновиками… Пардон, а где эти многострадальные черновики? В фонде библиотеки Римской коллегии. Обращаться за допуском к дедушке. А дедушка где? А дедушка умер.

Разъяренный до неописуемости, я рванул в коридор и вывесился в окно, выходящее во двор, с криками:

– Амалия! Как это может быть, – вопил я, – что ни в одной комнате не осталось книг, и кто посмел вынести из моей комнаты все мои вещи и игрушки?

– Господи помилуй, синьорино Ямбо, вы же в этой комнате живали и уже будучи студентом, и в шестнадцать, и в во-

семнадцать лет. Что же было, держать там все соски и погремушки? И с чего это вам занадобились игрушки через пятьдесят лет?

– Ладно, не будем об этом. Ну а кабинет деда? Там ведь было видимо-невидимо книг. Куда они делись?

– А на чердаке все, все на чердаке. Помните, какой у нас тут чердак? Похож на кладбище, не люблю я на чердак лазать, редко-редко его открываю, только хожу расставлять блюдечки с молоком. Зачем молоко? Ну чтобы приваживать наших трех кошек, а уж как коты туда зайдут, то всякий раз одну-другую мышку и словят. Блюдечки ставить приказывал ваш покойный господин дедушка. На чердаке книги и бумаги, нужно ведь мышей как-то с чердака гонять, потому что, знаете, все-таки тут деревня, бейся не бейся, а мыши своим чередом… Год за годом вы, синьорино Ямбо, взрослели, из вещичек вырастали, ну и мы вещички эти запаковывали и помаленьку сносили на чердак вместе с куклами барышни, вашей сестрички. А потом, когда дядя с тетей взялись тут все переставлять, мое дело сторона, лишнего я говорить не хотела, но скажу уж: лучше бы они оставили в доме все как было в заводе при покойном деде. А они переиначили. Старый хлам, велели, на чердак. И, понятное дело, весь второй этаж принял похоронный вид. И когда вы синьору Паолу по первому разу сюда привезли, то никому на тот этаж селиться не захотелось, и тогда вы решили селиться в правом флигеле, где совсем все в простоте, там же не барские комнаты,

потому как там людские, однако госпожа Паола быстренько все привела в порядок, и теперь детвора может там беситься и прыгать сколько ихним душам угодно, и не чиниться, и не сидеть поджавши хвост, как шавки на паперти…

Если я думал, что в дедовой половине мне сразу откроется пещера Али-Бабы, а в пещере наполненные золотом сосуды и чистой воды диаманты, размерами каждый с отборный грецкий орех, и ковры-самолеты в полной готовности к вылету, то, значит, мы ошибались во всем, ошибалась Паола, ошибался я. Пещера оказалась пуста, сокровища вынесены. Придется мне, видимо, организовать экспедицию в новое место – на тот самый чердак – и стаскивать вниз коробки, все, какие удастся обнаружить. Приводить дом в первоначальный вид? Да, но для этого следовало бы помнить, что где было в первоначальном виде. А я затевал всю эту петрушку как раз для того, чтобы это узнать.

Снова войдя в бывший кабинет моего деда, я увидел на столике в углу старый проигрыватель. Не граммофон, а именно проигрыватель со встроенным динамиком. Судя по дизайну, пятидесятые годы. На семьдесят восемь оборотов. Дед, получается, слушал пластинки? Коллекционировал их, как все прочие свои редкости? И где же сейчас эти пластинки? Тоже на чердаке?

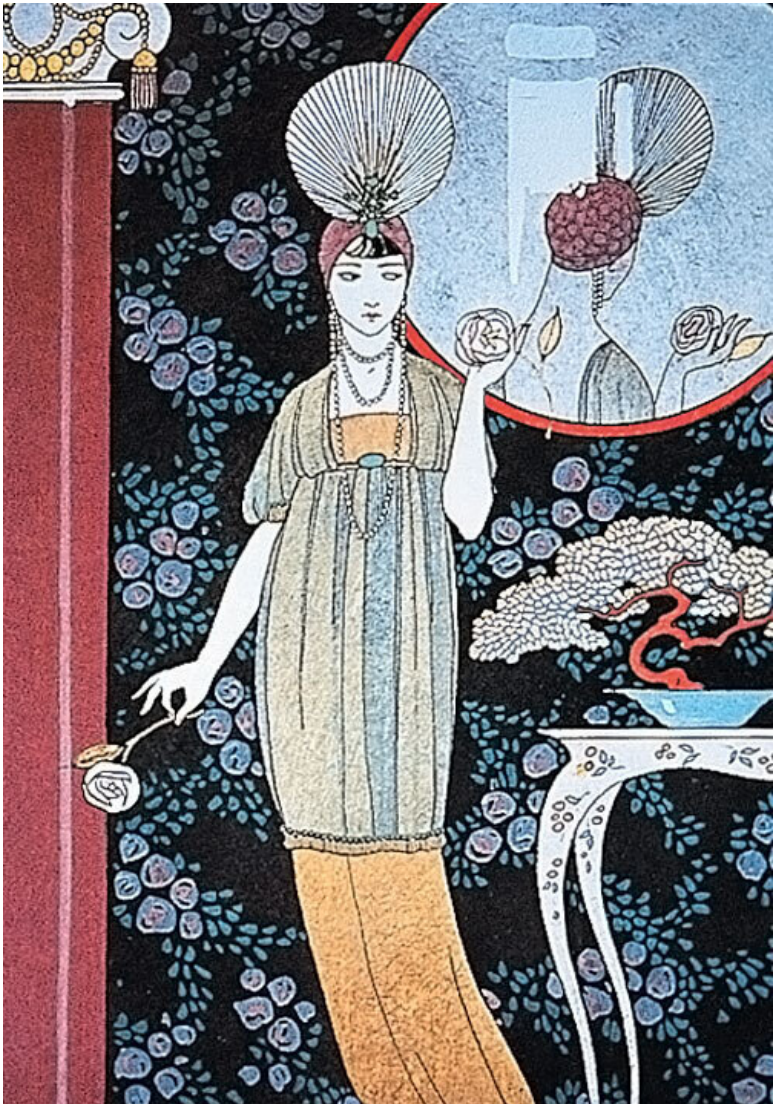
Я взял со стеллажа французские журналы. Роскошно отпечатанные, с цветочными орнаментами, каждая страница выделана как миниатюра, по краям бордюр, и цветные иллю-

страции в манере прерафаэлитов – бледные дамы беседуют с рыцарями Святого Грааля. Внутри рассказы и статьи, вокруг текста те же самые витые виньетки из лилиевых стеблей, и тут же картинки женских мод, уже в стиле ар-деко – фигуры неестественно удлинены, стрижки под мальчика, шифон или вышивка шелком по шелку, линия талии занижена, шея открыта и обязательно вырез на спине. Губы кровавы, как свежая рана, у губ – порочный мундштук, ленивыми голубоватыми кольцами – сигаретный дым, вуалетка. Тогдашние безвестные рисовальщики досконально умели передавать на бумаге запах пудры от пуховки.

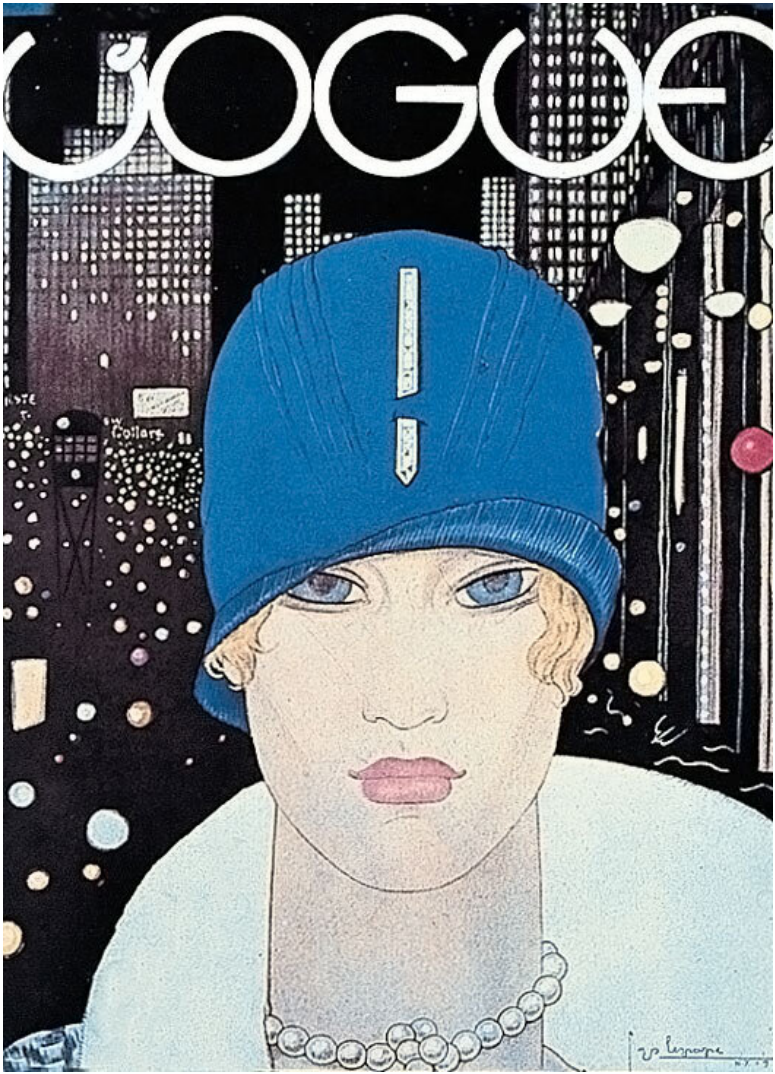
B.K.

CANDÉ

MODE-
BALL
1 9
2 8



1922 G. BARBIER


VOGUE
Collars

Время от времени журналы ностальгически обращались к едва только отошедшему в прошлое стилю либерти, исследовали то, что было в моде недавно, наряду с тем, чему вскорости предназначено было войти в моду, и, я думаю, легкая патина былого придавала дополнительное благородство предложениям нового в этих модных рисунках для будущих Ев. На меня же веяло большей пленительностью от Ев былых, от Ев отживших, и к их изображениям я с трепетанием припадал. Никакое не таинственное пламя, а нормальная обыкновенная тахикардия, ностальгия по сегодняшнему.

Женский абрис, долгие золотые пряди, чуть витающий аромат падшего ангела, нарочитая тихоня, тихий омут. Мне припомнились французские стихи:

…des longs lys religieux et blêmes
se mouraient dans tes mains, comme des cierges froids.
Leurs parfums expirants s'échappaient de tes doigts
en le souffle pâmé des angoisses suprêmes.
De tes clairs vêtements s'exhalaient tour a tour
L'agonie et l'amour.

От молитвенных лилий на тусклых стеблях,
умиравших в руке у тебя, исходил,
как от свеч охладелых, мучительный пыл —
это вздох угасал на печальных губах…
И из светлых одежд выникали напасть,

смерть и страсть.

Черт, я же видел, где – не припоминаю, этот абрис, я видел его в своем детстве, а может, в отрочестве, а может, в юности, а может, на заре самой первой взрослости – абрис был врезан в мое сердце. И он был абрисом Сибиллы. То есть я знал Сибиллу всю свою жизнь. Месяц назад, когда мы встретились в Милане, я опознал ее по памяти… Поняв это, я не расчувствовался и не разнежился – наоборот, ощутил страдание. Что же, получается, что в реальной Сибилле я просто оживотворил образ, знаемый с юности? Может, я сразу воспринял ее как предмет любви, потому что предметом любви некогда являлся тот самый образ? А потом, снова встретив милый образ в «новой жизни после гибели», я вставил его в сюжет, от которого сходил с ума в раннеподростковую пору… Значит, у меня с Сибиллой только-то и было настоящего, что тот портрет?

А что, если у меня, кроме памяти об этом рисунке, не было ничего настоящего и с другими женщинами? Что, если я всю жизнь проваландался в поисках утраченного портрета? Тогда *recherche,* тот поиск, которому я предаюсь в дедовых комнатах, обретает совсем иной смысл. Тогда он – не столько работа по припоминанию того, кем я был до прощания с Соларой, сколько работа по определению причин, по которым я прожил жизнь так, как прожил, уже после того как из Солары уехал. Да? Точно ли? Нет, какая уж точность, отве-

чал я сам себе. Что с того, что одна картинка напомнила мне недавно виденную женщину? Может, дело просто в том, что на картинке нарисована хрупкая белокурая дева, и впрямь похожая на Сибиллу. Будь картинка иной, может, она привела бы мне на память, ну не знаю, Грету Гарбо или соседку по этажу. Может, ты до сих пор об одном только и мыслишь, как в том анекдоте (его рассказывал Джанни кстати о больничных экспериментах надо мной и психологических тестах), – тебе мерещится «это самое» в любой цветовой кляксе, которую демонстрирует проверяльщик-психолог.

Короче говоря, ты прибыл на встречу с покойным дедом, какое отношение имеет к этому Сибилла?

Я возвратил на стеллаж журнал – посмотрю позднее. Меня неотвратимо привлекал словарь «Новейший Мельци» *(Nuovissimo Melzi).* Издание 1905 года, 4260 иллюстраций, 78 систематических таблиц, 1050 портретов, 12 хромолитографий, издательство Антонио Валларди, Милан. Стоило его открыть и увидеть пожелтелую бумагу и мельчайший шрифт (восьмой кегль) и маленькие картинки в начале статей, я както сразу нашел именно ту страницу, которую и хотел найти. Пытки. Ну да, конечно, – вот они пытки, все по порядку: варение в масле, распятие, сажание подвешенного на дыбе ягодицами на подушку из железных иголок, поджаривание ступней на костре, печение человека на гриле, закапывание живого в землю, раскаленные клещи, костер, колесо, сдирание с живого кожи, копчение на вертеле над костром, распи-

ливание (зловещая пародия на распиливание ассистентки в цирке – приговоренный тоже в ящике, палачи орудуют двуручной пилой, вся разница – что из тела, вложенного в ящик, здесь взаправду получается два обрубка), четвертование (см. предыдущее, с тем различием, что резательный аппарат приспособлен разрубать несчастных не поперек, а вдоль тела), разрывание на части – казнимого привязывают к лошадиному хвосту, зажимание ног в тиски и, самое поражающее воображение, – сажание на кол; тогда еще я не слыхивал о шеренгах из посаженных на кол и горящих мучеников, образующих живые факелы, при таком освещении любил ужинать воевода Дракула. На листе было тридцать видов пыток, одна чудовищнее другой.

Зажмурив глаза, после первого взгляда на эту картинку я мог перечислить все изображения по памяти, и тихий ужас, и подспудное возбуждение, овладевавшие мною, – все это принадлежало «мне» прежнему, совсем не «мне» новому, к которому я был еще непривычен.

SUPPLIZI

Anello
Berlina
Bollimento
Ceppi
Crocifissione
Decapitazione
Eculeo
Elettricità
Flagellazione
Fucilazione
Fune
Fuoco
Gabbia
Ghigliottina
Gogna
Graticola
Impiccagione
Interramento
Lapidazione
Maschera del disonore
Palo
Pira
Rogo
Ruota
Scorticamento
Sega
Spiedo
Squartamento
Trascinamento
Vite ai piedi

Немало же я времени, знать, посвятил этой таблице. Что до прочих таблиц в толстом томе, среди них встречались и цветные с яркими картинками (я находил их, не сверяясь с заголовками, следуя простой памяти пальцев). Грибы гименциальные, базидиальные, красивее всех – те, что всех ядовитее: цесарский мухомор с желтым мясом, с красной шляпкой в крупных редких бородавках, белый гриб-зонтик, он же белая скрипица, сатанинский гриб, желтая сыроежка под багровой шляпкой, у которой края оттопырены, будто распяленные в ухмылке толстые губы; на другом листе нарисованы вымершие исполинские неполнозубые – мегатерий и близкие к нему формы, а также мозазавр, мастодонт, моа. Лист музыкальных инструментов: сальпинга, авлос, цитра, кифара, сиринга, олифант, рамзинга, буцина, лютня, эолова арфа и арфа Соломона. Знамена всевозможных государств, называвшихся Кохинхин, Малабар, Конго, Табора, Маратха, Новая Гранада, Сахара, Самоа, Сандвичевы острова, Валахия и Молдавия, и всевозможные средства передвижения: омнибус, фаэтон, фиакр, ландо, коляска, кэб, двуколка, дилижанс, линейка, шарабан, кабриолет, кибитка, этрусская колесница, квадрига, башенка на слоне, повозка, телега, паланкин, носилки, сани, берлина, розвальни, конка. Парусники… а я-то гадал, из каких таких источников был мною усвоен лексикон морского волка: бригантина и бизань, крюйсель, шканцы, рея, конец, шверт, фал, грот-марсель, фок, крюйс-брам-

сель, кливер, фок-стеньга-стаксель, шкот, гик, грот, кокпит, румпель, фегалс, кнехт, вант, штаг, салинг, шпангоут, такелаж, ставить лисели, лечь в бейдевинд, круче полуветра, тыща чертей в душу боцману, гром и дьяволы, каперская грамота, батарейная палуба, свистать команду наверх, травить фал, выбирать конец, брать риф, крепить шкаторины к нокам, пятнадцать человек на сундук мертвеца. На других иллюстрированных вклейках – старинное оружие: булава, палица, бич, секира, тесак, ятаган, кортик, палаш, алебарда, колесная аркебуза, бомбарда, таран, катапульта, единорог и мортира. Грамматика геральдики: щит, шлем, намет, корона, нашлемник, щитодержатели, девиз, мантия и сень, глава, пояс, оконечность, столб, перевязь, крест, стропило, кайма, щиток…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.